

**НЕСКОЛЬКО МЫСЛЕЙ ПО ПОВОДУ
УПАДКА ЦЕННОСТИ КРЕДИТНОГО РУБЛЯ,
ТОРГОВОГО БАЛАНСА И ПОКРОВИТЕЛЬСТВА
ПРОМЫШЛЕННОСТИ**

(1867 г.)

I

Все считающие себя в праве именоваться adeptами экономической науки — у нас, по крайней мере, — нисколько не усомнятся отвечать на вопросы, поставленные в заглавии статьи, что *кредитные рубли упали от того, что их выпущено слишком много; что торговый баланс есть противонаучная нелепость, что покровительство промышленности вообще, и в особенности посредством тарифов, приносит один лишь вред, и только с надменным сожалением пожмут плечами на невежество профана, дерзающего сомневаться в этих „научных истинах“*, точно как если бы дело шло о сомнении в справедливости Коперниковой системы. И однако ж, в основательности „научных истин“ этих сомневаются люди, которых, без очевидной недобросовестности, нельзя укорить ни в невежестве, ни в недостатке развития и тонкости мышления, нужных для того, чтобы вникнуть в силу и взаимную связь употребляемых экономистами доказательств. Такое разногласие, редкое относительно предметов, принадлежащих к областям наук, более положительных, нежели Политическая Экономия, зависит, думается мне, главнейше от того, что, как по трём означенным, так и по многим другим вопросам, ни правоверные экономисты, ни противники их, не имеют в своём распоряжении средств для количественного анализа исследуемых ими явлений. Между тем, при одном качественном анализе явлений, как бы он ни был тонок, выводы, на нём основанные, всегда будут шатки. Во время òно, химики утверждали, что горение и окисление металлов зависит от отделения из горящего или окисляющегося вещества — некоей весьма тонкой материи, именуемой флогистоном. И надо отдать справедливость выдумавшему это объяснение, что факты весьма гладко им истолковывались и приводились очень удовлетворительно во взаимную стройную систематическую связь. Но вот пришло в голову, что, если при горении и окислении что либо отделяется, то вес продукта должен уменьшаться; к решению вопроса применили весы, т. е. количественный анализ — и флогистон рассеялся. История величайшего открытия человеческого ума представляет подобный же пример. Открыв закон всемирного тяготения, Ньютон захотел проверить его, т. е. подвергнуть критике количественного анализа; но элементы этой проверки, т. е. размеры земли, не были ещё точно определены, и гениальная мысль осталась в его уме на степени блистательного предположения, не имевшего права занять место в числе научных истин, пока более точное градусное измерение Пикара на подтвердило его путём количественным. Пресловутый до-

Галилеевский *horror vacui* удовлетворял все умы, пока не было показано, что это „отвращение от пустоты“ доходит для воды только до 32 футов, а для ртути — только до 28 дюймов. Можно было бы привести множество подобных примеров из истории точных наук, но, вместо напрасного повторения всем известного, расскажу бывший со мною случай, доказывающий то же самое в микроскопических размерах. Мне вздумалось удивить кое-кого, показав, что иголка с несколько жирною поверхностью, осторожно положенная на воду, будет на ней плавать. Иголка действительно не тонула, но не произвела в зрителе ожидаемого изумления. Он слыхал кое-что о физике и заметил, что тут ничего нет удивительного: ведь жир легче воды, а потому и должен поддерживать иголку. При одном качественном разборе явления, нельзя ничего возразить против этого, ибо действительно жир легче воды и может, поэтому, заставить иголку плавать — но только в таком случае, когда количество его было бы для сего достаточно. Этот рассказ привёл я потому, что он как-то остался в моей памяти неразрывно связанным с только что прочитанным тогда в „Московских Ведомостях“ доказательством безвредности для торгового баланса — проживательства значительного числа русских за границею. Доказательство это, как читатели, может быть, припомнят, заключалось в том, что, с одной стороны, продукты, потребляемые этими русскими за границею, усилили бы собою ввоз иностранных произведений, если бы эти господа оставались дома, а с другой, — что те продукты русского производства, которые бы они, живя в России, скучали, износили, искурили и т. д., должны, оставаясь за их отсутствием непотреблёнными, усилить наш вывоз. Не то же ли это, что иголка, плавающая на воде в силу того, что тяжесть её уравновешивается неизмеримо-тонким слоем жира!

Обвинять экономистов собственно за то, что они не вводят количественного элемента в свои теории, было бы несправедливо, потому что явления, подлежащие их ведению, по большей части так сложны, а числовые данные об общественных явлениях, доставляемые статистикою, не у нас только, а и везде, так недостаточны, что, в большинстве случаев, это совершенно невозможно. Но, когда подмостки, на которых стоишь, так шатки, зачем такая самоуверенность, к чему такие олимпические взгляды и такие юпитеровские движения бровей, будто в самом деле с вершины какого-нибудь незыблемого научного Олимпа?!

Приведённые примеры показывают, что без введения в анализ явлений количественного элемента самые высокие истины остаются лишь на степени более или менее замысловатых предположений, самые ложные теории (флогистон и *horror vacui*) получают вид истины, и даже самые дикие объяснения (плавающая иголка и экономическая безвредность абсентеизма) не могут быть вполне уличены в нелепости. Очевидно, что и вопрос о том, происходит ли у нас низкий курс кредитного рубля от излишнего выпуска кредитных билетов, принадлежит также к числу вопросов, точное решение которых без количественного анализа — невозможно. Задача, подлежащая решению, состоит собственно в том, чтобы при данных: народонаселении

страны, её пространстве, степени напряжённости экономической жизни, средствах сообщения и пересылки, торговых обычаях и т. п. — определить количество денежных единиц, которые должны в ней обращаться. Одно уже изложение задачи показывает невозможность её решения. Но, по счастию, мы можем, для цели нашей, удовольствоваться, вместо этого общего решения, несравненно простейшим частным случаем. Необходимо знать не то, сколько именно должно бы было быть денежных знаков в России при нормальных условиях, а только то, находится ли их теперь *слишком много*, или нет; и вопрос, поставленный в таком более скромном виде, кажется мне, может быть решён путём количественным. Именно, если вопрос не слишком тонок (т. е. если границы, в которых может колебаться величина, на него отвечающая, не изменяя смысла или направления ответа, довольно пространны), то можно употребить при его решении следующий метод. Приняв предварительно решение в том или в другом смысле, надо уменьшить условия, благоприятствующие этому смыслу, до такой степени, чтобы уже не оставалось сомнения, что они не могут быть ещё меньше, и, наоборот, увеличить условия ему, противоречащие, до той степени, чтобы также не оставалось сомнения, что они не могут быть ещё больше. Если, несмотря на это, предварительное решение сохранит свою силу, то, очевидно, надо принять его за истинное. Если же, напротив того, несмотря на крайнее преувеличение обстоятельств благоприятствующих, и на крайнее преуменьшение обстоятельств противоречащих, предварительное решение, и при этих наилегчайших предположениях, всё-таки приведёт нас к какой-нибудь несообразности, то его бессомнительно уже должно отвергнуть. Поясню это примером. Предлагается вопрос: есть ли на свете два человека, на голове у которых имелось бы, единица в единицу, одинаковое число волос? Многие, не подумав хорошенъко и опираясь на разнообразие, господствующее в природе, ответят отрицательно; иные, вероятно, скажут, что вопрос не может быть точно решён, так как невозможно пересчитать всех волос на всех головах. И действительно, если бы спрашивалось: сколько существует людей с таким-то и с таким-то числом волос, то отвечать на это было бы нельзя; но в том виде, как вопрос поставлен нами, он подлежит совершенно-точному решению. Предположим, что нет двух голов с равным числом волос. В этом предположении, хотя бы мы приняли, что существует всевозможное разнообразие в числе волос, начиная от одного волоска, торчащего на лысине, до крайнего предела густоволосости, всё же, если бы число людей на свете оказалось больше числа волос на самой густоволосой голове, то одни и те же числа волос необходимо должны повторяться на нескольких головах. И так, увеличим число волос за границы возможного; примем, например, что поросшая волосами поверхность кожи на этой исключительной голове занимает четыре квадратных фута; примем, далее, что на каждую квадратную линию приходится по 1000 волосков, т. е. гораздо более чем сколько может их поместиться, если бы даже волоса росли сплошь, без всяких промежутков: все же получим мы только 57600,000 волосков. Как ни уменьшай числа жителей на земле, менее чем в 700 млн принять его

нельзя. Следовательно, и при допущенных нами нелепых преувеличениях и преуменьшениях, оказывается, что в среднем выводе число волос, растущее на той или другой голове, должно повторяться на головах ещё двенадцати человек.

Применим этот метод к решению вопроса: слишком ли много у нас кредитных билетов? Представим себе, что вместо действительно-существующего обращения денежных знаков, каждый билет может служить всего только один раз (как, например, теперешние почтовые марки) и после каждой передачи из рук в руки должен помечаться приложением штемпеля. Предположим также, что этот неудобный способ не оказывал бы, однако, вредного влияния на денежное обращение. Помноживши число штемпелей на число денежных единиц (рублей), заключающихся в каждом билете, и сложив все эти произведения, получим сумму, которая выразит величину денежного обращения нашего в рублях; а, разделив эту сумму на число кредитных рублей, находящихся в обращении, узнаем сколько раз средним числом обратился в течение года каждый рубль. Это будет, следовательно, *средняя действительная скорость обращения денежной единицы* (рубля). Ежели бы скорость эту и могли мы определить в точности, этого всё-таки было бы для нас ещё недостаточно. Независимо от действительной скорости обращения денежных знаков, обусловливаемой величиною годичного денежного оборота и числом денежных знаков, существует, при известном, числе жителей, известном пространстве, данных экономических потребностях, средствах сообщения и пересылки, вспомогательных кредитных и вообще платёжных учреждениях, и т. п., известная скорость обращения, определяемая именно этими только что поименованными условиями, скорость, которая сама собою должна была бы установиться, если бы ей не препятствовал излишек или недостаток денежных знаков, или, другими словами, если бы число этих знаков сообразовалось единствено с величиною годичного обращения и с экономическими условиями страны, ускоряющими или замедляющими денежное обращение. Назовём эту величину *среднею нормальною скоростью обращения денежной единицы*, и посмотрим теперь, к каким явлениям должны повести различные отношения, могущие существовать между этими двумя скоростями, *действительною* и *нормальною*. Если они равны между собою, то каждый денежный знак (средним числом) обернётся столько раз, сколько он способен это сделать вследствие сил, его побуждающих, и препятствий, сему противостоящих, и, если нет никаких других влияний, действующих на ценность денежной единицы, то эта последняя должна быть полноценна. Если средняя нормальная скорость обращения больше средней действительной, то денежные знаки, совершив все свои обороты, сохранят ещё, так сказать, возможность обращения, когда в нём не будет уже более надобности, и останутся свободными от дела, так сказать тунеядными: другими словами, они совершают все свои обороты как бы раньше срока. Этот именно случай и имеет у нас место, по мнению экономистов. Наконец, если действительная скорость обращения больше скорости нормальной, или (так как это, по самой

сущности дела, невозможно) если нормальная скорость обращения, помноженная на число денежных знаков, не удовлетворяет потребности, то чувствуется необходимость в их увеличении, и номинальная цена денежной единицы возвышается, опять-таки, если нет иных причин, стремящихся её понизить. Что этот последний случай возможен даже и для бумажных денег, доказывается ложем, который, до введения счёта на серебро, платился у нас одинаково, как на целковые, четвертаки, гриневники, так и на беленькие, красненькие и синенькие ассигнации.

Примем, согласно с уверением большинства наших экономистов, что у нас существует второй случай. Очевидно, что этому предположению благоприятно уменьшение годичного денежного оборота, а следовательно и средней действительной скорости обращения рубля. Постараемся же отыскать для годичного обращения такую величину, которая, в глазах каждого, казалась бы минимумом, всякое дальнейшее понижение которого было бы уже безрассудно. Доходы казны простираются у нас до 350 млн. Примем для каждого рубля, входящего в состав этой суммы, только четыре оборота, а именно: получение его из рук плательщика податей; выдачу его служащим, подрядчикам казны и т. п.; употребление этими последними полученного жалованья, платы или аванса на удовлетворение своих нужд; и, наконец, добывание денег плательщиками податей, откуда бы то ни было, так как деньги, идущие от них в казну (через посредство прямого или косвенного налога), не лежат же у них готовыми. Не может быть сомнения, что принятие для суммы, идущей на государственный доход и расход, всего четырёх только оборотов — до нелепости мало: ограничимся им однако ж. Оно даёт нам оборот в 1400 млн. Но доход и расход казны не может быть полагаем выше одной пятой доли общего дохода и расхода всех граждан государства; следовательно, мы будем ещё далеко ниже истины, если примем, что годичный денежный оборот России равняется 7000 млн руб. Скинем с этой, до крайности уменьшеной, суммы ещё 500 млн: будем иметь 6500 млн. Кредитных билетов находится у нас в обращении на сумму около 650 млн руб. Следовательно средняя действительная скорость обращения будет равняться 10 или, лучше сказать, эту скорость никак нельзя уже принять менее 10. Но, по мнению экономистов, кредитных билетов на сумму 650 млн руб. слишком много для удовлетворения потребностей России в денежных знаках, и излишок этот, приблизительно, определяется в одну пятую долю помянутой суммы, так как цена кредитного рубля упала на 20% против номинальной. Другими словами, это значит, что *средняя нормальная скорость обращения* на одну пятую долю больше *средней действительной скорости*, и что ежели последняя, как мы видели, не может быть принята менее 10, то первая должна равняться 12. То есть: когда все кредитные рубли, имеющиеся в обращении, обратятся средним числом по десяти раз, и таким образом удовлетворят, денежному обороту в 6500 млн, за каждым из них сохранится возможность обернуться, средним числом, ещё два раза, чего, однако они не делают, потому что, при существующей напряжённости экономической жизни, уже и без этих двух лишних оборотов в год, всё, что

от денежных знаков требуется, ими уже совершено. Следовательно, при всех денежных делах ощущалось бы присутствие лишних 100 млн в год. Другими словами, совершив „вся дела своя“ в течение десяти месяцев, два месяца в году вся сумма наших кредитных билетов оставалась бы лежать спокойно в шкатулках, как будто наступила бы для них двухмесячная еврейская суббота; или, если эта форма представления не нравится, то каждый месяц 108 млн, или каждый день около $3\frac{1}{2}$ млн, искали бы себе дела, не зная, куда бы с пользою употребить себя. Такое давление $3\frac{1}{2}$ млн в день, или 108 млн в месяц, или 1300 млн в год, необходимо проявлялось бы в легкости расплаты. Ни один купец не стал бы забирать товаров в долг на долгие сроки, имея возможность, по причине излишка в денежных знаках, быстро расплачиваться и тем избавляться от напрасно платимых процентов, и т. д. Спрашиваем теперь: ощущается ли на наших рынках такое давление излишка денежных знаков или, точнее сказать, перевеса средней нормальной над среднею действительной скоростью обращения, и притом излишка не маленького, а, по крайней мере, равняющегося 1300 млн в год, излишка, который не мог бы не дать себя почувствовать, если б действительно существовал? Всё торговое сословие в один голос отвечает: *нет*, и находит, что скорее чувствуется противное. Так как это вопрос факта, то мы имеем полное право основываться на суждении тех лиц, которым факт этот по преимуществу должен быть чувствителен, каковы бы впрочем, ни были при этом наши понятия о развитости или неразвитости, об экономическом понимании или непонимании, обнаруживаемых этими лицами. В вопросах факта даже и ревностные католики не признают непогрешимости папы: неужели же экономисты желают пользоваться ещё высшим авторитетом?

Если факта отрицать нельзя, то надо придумать нечто такое, что могло бы объяснить, чем это давление излишка денежных знаков нейтрализуется и тем не допускается до ощущения его нашими торговыми людьми. Козлом отпущения грехов теории служит в этом отношении для экономистов наших — торговля разными бумажными ценностями: она-то, видите, и отвлекает к себе весь излишек кредитных билетов, и не даёт ему обнаруживаться в других жизненных сферах. Это было легко утверждать, пока говорилось об излишке вообще, без означения его величины; но, когда излишек этот должен составлять, как крайний минимум 1300 млн в год, то нет уже никакой возможности приписывать такие громадные размеры биржевым сделкам этого рода. Но пусть будет и так, не будем и об этом спорить, пусть обороты по торговле бумажными ценностями поглощают все 1300 млн: поглощают — следовательно этим самым перевес нормальной скорости обращения над действительной уже уничтожен. Можно утверждать, и весьма основательно, что такое сильное развитие торговли бумагами вредно в тех-то и тех-то отношениях, но об излишке денежных знаков толковать уже более нельзя. А ежели нельзя, то чем же объяснить упадок кредитного рубля?

Прежде чем пойду далее, считаю обязанностью извиниться в некоторых употреблённых мною, по примеру экономических писателей, неправильных

выражениях; я говорил, например: *излишек денежных знаков давит*, и т. д. Смею уверить, что это одни только метафоры, и что я никак не думаю, чтобы кипы бумажных денег могли давить иначе как количеством заключающихся в них фунтов или пудов. К такому наивному объяснению я вынужден тем, что метафорическое значение подобных выражений от многих совершенно ускользает и принимается ими за настоящее дело. Риторическая фигура олицетворения играет большую роль в делах самых серьёзных, и не мало содействует к усилению сумбура в понятиях. Всем, вероятно, случалось читать или слышать фразу: *капиталы не имеют отечества*. Конечно, не имеют, ибо отчество могут иметь только существа разумные; но точно также не имеют капиталы ни крыльшек, ни ножек, ни собственной воли, которая бы ими двигала; двигаются же они волею своих обладателей, а обладатели эти имеют отчество, или, по крайней мере, должны бы его иметь; а если действуют так, как бы его не имели, то должны считаться вредными гражданами, и если в качестве таковых и не могут, в большинстве случаев, подвергаться ответственности по законам — ибо иногда лекарство бывает хуже болезни — то, тем не менее, при более правильных понятиях, не спутанных метафорами и фигурами олицетворения, должны были бы всюду и всегда наказываться публичным презрением и позором. Но метафора всё это спутывает, потому-то и счёл я необходимым извиниться в употреблении метафорических выражений.

II

Предположение о существовании излишка в кредитных билетах привело нас к противоречию с фактами, к несообразности. Билеты эти, однако, потеряли часть своей цены. Болезнь существует — это несомненно. Всякая болезнь, кроме вреда еюносимого, обнаруживается известными симптомами, и симптомы эти дают возможность врачу заключать об её причинах. Болезнь состоит, например, в истощении; истощение может происходить от недостаточного питания, но также и от недостаточного дыхания, или ещё от других причин, и, ежели бы нельзя было заключать об этих различных причинах по различию в симптомах, то и лечить болезнь можно бы было только на удачу, рискуя принести более вреда, чем не леча вовсе. Мы видели, что симптомы болезни наших кредитных рублей не согласуются с гипотезой об их излишестве. Прежде всего, надо посмотреть, нет ли других возможных болезнестворных причин. Прибегнем для этого изыскания к методу, также во многих случаях весьма действительному — к упрощению. Если в науках, справедливо пользующихся правом называться „точными“, случается иметь дело со сложным явлением, то стараются расположить опыт или умозрение так, чтобы предоставить действие только одной из многих влияющих причин. Поступим и мы таким же образом.

Предположим, что среди океана существует остров — назовём его хоть Атлантидой — который не имеет никаких сношений с остальным миром, и жители которого думают о себе, что они единственные разумные существа во вселенной. Благоприятствуемые климатом, почвою и природными

способностями, атлантиды собственным трудом вышли из состояния грубоści и достигли известной степени цивилизации. Условия жизни их до того усложнились, что они не могут более довольствоваться простою меню своих произведений. Скот, соль, раковины не удовлетворяют уже потребности их в том средстве, которое мы называем деньгами. Драгоценные металлы на острове есть, но островитяне еще не открыли их. Мудрец, живший в то время между атлантидцами, стал рассуждать, как бы помочь горю, и вот, приблизительно, ход его рассуждений. Искомое средство должно иметь такие свойства, чтобы его можно было променивать на каждый товар и на каждое количество товара. Так как все товары делимы, то и наше искомое должно иметь соответственную делимость. Бараны и быки для этого не годятся. Соль и раковины, пожалуй, удовлетворяют этому требованию, потому что, назначив, что раковина соответствует самому малому количеству самого дешёвого вещества, можно достигнуть того же, как если бы они были делимы. Далее, необходимо, чтобы средство всеобщей мены долго сохранялось, не уничтожаясь и не портясь. Соль для этого решительно не годится, раковины же, хотя с грехом пополам, удовлетворяют и этому требованию. Но и этого ещё мало надо, чтобы нельзя было или, по крайней мере, очень трудно было подделывать наше общеменовое средство; а то все, вместо того чтобы настоящее дело делать, станут заниматься его подделкою, и никогда нельзя будет быть уверенным, что его не слишком много наделали. Раковины и в этом отношении, пожалуй, годятся. Надо, наконец, чтобы вещество, которое употребим на общеменовое средство, было достаточно редко, для того чтобы каждый не мог увеличивать по произволу количество его. Мудрец пришёл к тому заключению, что ни одно из известных ему произведений острова не годилось для желаемой цели. Но почему бы, подумал он, не придать требуемых качеств какому-либо веществу искусственно? Возьмём, например, хоть кусок бумаги. Разную величиною или формою кусков можем удовлетворить требованию делимости; трудным рисунком, которого секрет будет известен лишь правительству, предупредим подделку; променом старых, износившихся бумажек на новые придадим им неуничтожимость; наконец, ограничив количество их выпуска единственно потребностию торговли и промышленности, предупредим излишнее их накопление. Конечно, думал он, странно, каким образом вещь сама собою ни на что не пригодная будет вымениваться на всякий действительно полезный предмет; но ведь ценность вещи основывается на её пригодности для какого - либо употребления; быть же орудием мены есть употребление весьма важное, и как только мои бумажки станут на это употребляться, то тем самым приобретут они и ценность. Не то ли же самое со всяkim предметом, пока не придумают ему употребления? Белая глина, которой у нас так много, не имела никакой цены, пока не придумали делать из неё превосходных фарфоровых сосудов, и с тех пор глина стала ценна: почему же и бумажки, когда они применяются к своему назначению посредством известного приготовления, а главное посредством строго соблюдаемых условий их выпуска, также точно не получат ценности, весьма хорошо удовлетворяя

своему назначению? Проект был приведён в исполнение. Сначала определили условно, что бумажная денежная единица соответствует такому-то количеству необходимейшего вещества, например хлеба, и в таком лишь случае прибавляли число денежных знаков, когда постоянный лож удостоверял, что оно не достаточно для нужд промышленности и торговли. Таким образом утвердилась в Атлантиде полная доверенность к искусенному средству облегчения мены. Это был *первый период денежного обращения* в Атлантиде.

Через несколько столетий, остров был открыт и вступил в торговые и иные сношения с иностранцами. Конечно, иностранцы не захотели принимать атлантидских бумажных денег, но из этого затруднения вывернулись счастливым открытием на острове золота и серебра. Атлантидцы так привыкли к своим деньгам, что не хотели переменить их на золотые и серебряные, а согласились на следующую сделку. Золото и серебро было собрано в особое хранилище, и установлена соответственность бумажной денежной единицы известному весу этих металлов. Торговля стала производиться следующим образом. Атлантидцы приезжали в иностранные земли и покупали на свои бумажные деньги тамошние продукты. Иностранцы с этими деньгами приезжали в Атлантиду, выменивали их на золото в разменной палате и потом за это золото покупали атлантидские товары. Получившие золото атлантидцы спешили в разменную палату и возвращали себе, за золото, свои любимые бумажки. Это был *второй период атлантидской торговли*, совершившейся посредством размена билетов на золото и золота на билеты.

Вскоре обе торгующие стороны заметили, что они совершенно напрасно затрудняют себя излишнею процедурою двукратного размена, и стали поступать так. Иностранцы, получив атлантидские билеты, прямо покупали на них атлантидские товары. Разменная палата опустела и чуть не была совершенно забыта. Своих товаров отпускали атлантидцы как раз на столько, на сколько покупали иностранных, и потому иностранные купцы брали бумажки, как если бы они были чистым золотом, зная, что ведь нужно же будет им покупать атлантидские товары, а на них и уйдут бумажки; разве ценили их немного дешевле за то, что в промежуток времени между получением бумажек и покупкою на них товаров, они не имели для них употребления; но так как торговля шла непрерывно, то эта причина не могла оказывать сильного действия. Это был *третий период в развитии атлантидской торговли*, в который размен на драгоценные металлы подразумевался, и, вместо прямого, существовал, так сказать, косвенный размен. Цена бумажек и тут не падала, и невозможно вообразить никакой причины, по чему бы ей было пасть.

Но, вот, атлантидцы развратились, забыли староотческие обычай и предания, пристрастились к разным удобствам жизни, приняли разные чужеземные привычки, которым могли удовлетворять лишь иностранными продуктами, и стали их накупать в гораздо большем количестве, чем отпускали своих собственных товаров. Очевидно, что, при таком порядке

вещей, некоторое количество атлантидских бумажек должно было оставаться в руках иностранцев, и когда их порядочно понакопилось, иностранцы, конечно, не знали, что с ними делать. К счастию вспомнили про разменную палату. Она снова была открыта, и золото потекло из неё рекою за границу. Атлантиды вовсе об этом не беспокоились, так как не были заражены меркантилизмом. Таков был *четвёртый период в ходе торговли и в судьбе бумажных атлантидских денег*.

Период этот, конечно, не мог быть продолжителен, и однажды иностранные купцы, явившись променивать оставшиеся у них излишек бумажек, услышали горестную весть, что променивать их не на что. То, что они считали деньгами, и что было таковым в течение долгих лет, обратилось в простые бумажки. Они было хотели прекратить всякие сношения с атлантидцами, но те стали их успокаивать: „чего вы опасаетесь? Ведь не нынче мы начали, не нынче и перестанем торговать с вами. Мы признаём за бумажками полную их цену; отдайте их нам, а мы доставим вам на следующей год товаров на всю их стоимость, да еще проценты за то, что вы нам раньше срока деньги в руки дадите“. — „Хорошо, отвечали иностранцы, но вы не берёте в расчёт, что на будущий год опять приедете к нам закупать наши товары в таком же количестве, как и за прошлый, а, пожалуй, и ещё того больше, и захотите платить теми же бумажками, тогда как значительную долю ваших товаров должны вы будете отпустить нам за те уже бумажки, которые мы вам теперь отдадим, да за проценты на них: таким образом вы, наконец, должны будете отпускать все потребное для нас количество ваших товаров за старые долги, а на что будете вновь покупать? Так нельзя, а послушайте, вот что. Вы покупали у нас в последние годы товаров на 150 млн, мы же ваших — только на 100 млн; следовательно 100 млн ваших билетов имеют и для нас полную ценность, остальные же 50, с тех пор как нельзя променять их на золото всё равно что клочки тряпья. Так как, однако, на ваших билетах не написано, которые из них принадлежат к первой сотне, и которые ко второй полусотне миллионов, то мы можем и будем принимать их вообще лишь за две трети их цены, а там, что будет, то будет“. Так и решили, что внутри атлантиды билеты будут по прежнему в полной их цене, а по внешней торговле будут приниматься лишь в две трети их номинальной стоимости. Но на деле вышло не так. Всякий торговец туземными произведениями внутри острова стал рассуждать, что может, ведь, случиться, что на вырученные деньги придётся ему покупать иностранные товары, по отношению к которым бумажки стоят всего $\frac{2}{3}$ своей цены, да если и не придётся этого ему самому, то, пожалуй, вздумает рассуждать таким образом тот продавец, у которого он будет покупать внутренние продукты; следовательно, против такого риска надо себя обеспечить, и нельзя принимать билетов в полной их цене. Наоборот, иностранные купцы стали думать, каждый с своей стороны: положим, атлантидские билеты стоят у нас лишь $\frac{2}{3}$ их номинальной цены; но ведь атлантидские товары остались в прежней своей цене, и я смело могу рассчитывать, что, сколько бы ни закупил их, всё сбуду. Если, поэтому, стану принимать билеты не в $\frac{2}{3}$, а в $\frac{3}{4}$

или $\frac{4}{5}$ их цены, то мне охотнее будут продавать, я закуплю больше чем другие, и увеличу свои обороты. Таким образом убедились, что билеты или вообще деньги имеют характер жидкости, т. е. что цена их стремится прийти к одному уровню. Однако же, как и жидкости вполне этого не достигают, если из двух действующих причин одна стремится возвысить или удержать жидкость на известной высоте, а другая стремится ее понизить, — убедились, что и тут, по мере удаления действующей причины, действие её ослабляется в некоторой степени, почему резкие и крутые разности в цене, как полноценность на внутреннем и $\frac{2}{3}$ цены на внешнем рынке, рядом существовать не могут; и что, хотя на внутреннем рынке ценность билетов будет стоять выше, чем на внешнем, переход между этими двумя уровнями будет, однако же, постепенен, и разница между ними не так велика. Тем не менее, понижение цены билетов очень всех изумило; говорили: „кажется, условия, предписанные древним мудрецом, исполняли мы в точности, лишних билетов не выпускалось, были мы в этом отношении скорее скучны, чем щедры, — и, однако же, билеты упали“. Имя виновника стольких бедствий готовы были предать проклятию, пока следующие соображения не привели атлантидов к более справедливому образу мыслей: „весь мудрец, рекомендовавший употребление бумажных денег, под единственным условием благоразумного и умеренного выпуска их, жил в то время, когда мы думали, что кроме нас на свете никого нет; когда, следовательно, атлантидская ценность и всемирная ценность были выражениями тождественными. Он говорил, что бумажные деньги могут служить, при известных условиях, представителями атлантидских ценностей, и они служили ими вполне; мало того, дальнейшая судьба их показала, что посредством косвенного размена могут они служить отчасти и представителями иностранных ценностей, именно такой доли их, которая равняется ценности нашего отпуска. Его ли вина, если мы захотели, чтобы наши билеты сделались представителями не только наших, но и вообще всемирных ценностей, без всякого ограничения“?

Какова была дальнейшая судьба атлантидских бумажных денег, мне неизвестно. Но из участия их доселе оказывается несомненным, что *ценность бумажных денег не зависит исключительно от того, соответствует ли их количество внутренней потребности в этих деньгах, а зависит также и от хода внешней торговли*. Конечно, в действительности торговые сношения происходят не так, как в нашем примере; но все различия в этом отношении усложняют только процесс, нисколько не изменяя его сущности; и, так как, думаю я, нельзя указать на какую-либо ошибку в изложенном ходе торговых сношений и в их влиянии на ценность билетов, то и должно признать, что торговый баланс может оказывать влияние на ценность бумажных денег.

Представим это образно. Бумажные деньги, служа представителями ценностей какой-либо страны, через обращение покрываются, так сказать, каждый раз слоем ценности известной толщины, как бы позлащаются. Толщина этого слоя определяется номинальною ценой денежной единицы, разделённой на среднюю нормальную скорость её обращения; и, если

среднее число действительных оборотов равняется этой последней, то единица будет полноценна (принимая в расчёт одно лишь внутреннее обращение). Количественного изъяна в таких деньгах нет; но может быть изъян качественный. Деньги должны иметь способность промениваться на каждый желаемый предмет. Но, если мы отпускаем менее, чем ввозим, то, собственно, этот излишек ввоза не может быть представлен такими знаками, которые служат лишь представителями ценностей внутренних, ибо не на что их выменять, кроме как на долговое обязательство. В денежных знаках, хотя бы они покрывались полным числом ценных слоёв, ощущается тогда как бы присутствие некоторых мест, намазанных проправою, к которой эти слои не пристают.

Или — вообразим себе, что в некотором государстве существуют разные кредитные билеты: одни — для внутренней, другие — для внешней мены. Пусть внутренние билеты будут обеспечены разменом, доверенностью к государству, чем и как угодно. Для внешних же пусть служат разменным фондом товары, выпускаемые за границу. Пока этот разменный фонд не превышает заграничной потребности в нём, то нет основания думать, чтобы билеты, его представляющие, могли упасть в цене; но, когда иностранная потребность насыщена, то весь излишек билетов является вовсе ничем не обеспеченным, ибо того, чем они обеспечивались, — или вовсе нет, или в нём нет надобности в данное время. Очевидно, что такие билеты могли бы пасть; между тем как билеты внутренние сохранили бы полную свою ценность. Но сольём воедино оба эти сорта билетов, или, что всё равно, сделаем обоюдный размен их друг на друга обязательным: очевидно, что изъян, присущий внешним билетам, отымёт часть достоинства у внутренних; внешние билеты несколько возвысятся, а внутренние несколько упадут. И, чем меньше будет в стране вероятность и близость такого размена для внутренних билетов, тем выше будут они стоять; наоборот, чем вероятность или близость эта будет больше, тем ниже будет их ценность.

Впрочем, это ведь совершенно подходит под любимое положение экономистов, что цена вещей определяется отношением предложения к требованию. Если, покупая иностранные продукты, мы отдаём за них более кредитных билетов, чем сколько может иностранцам понадобиться купить на них наших продуктов, — не значит ли это, что наше предложение билетов превышает иностранное в них требование? Не могут же они, в последнем результате, делать из наших билетов иного употребления, как выменивать на них наши произведения или услуги. Почему же, когда дело идёт о бумажных деньгах, хотят непременно ограничивать отношение между предложением и требованием либо потребностью во внутренней мене?

Для непредубеждённых читателей, этим могли бы мы и закончить наши рассуждения. Выходит, что существуют вообще две причины, могущие производить упадок в цене кредитных билетов: излишек их выпуска, и невыгодный торговый баланс. Если, в применении к частному случаю — к упадку бумажных денег в России, — оказывается, что первая причина не имеет места, так как экономическая болезнь не сопровождается симптомом

ощущенья излишка в денежных знаках при торговых сделках всякого рода, то очевидно, что причину упадка надо искать во втором обстоятельстве, которое может произвести тот же самый недуг, т. е. в невыгодном балансе. Но мы имеем дело с людьми предубеждёнными, которые скорее готовы приписать всему торговому люду русскому род галлюцинации или частного умомешательства, препятствующего ему ощущать давление излишка в денежных знаках, чем признать неприятный факт, ниспровергающей одностороннюю их теорию. Уступим и в этом, так как в запасе у нас есть ещё доказательство, от которого не отвертесь даже повальною галлюцинациею всего русского купечества, а надо будет приписать ему полнейший идиотизм, да и не одному купечеству русской национальности — за этим, пожалуй, дело бы не стало — а и всем занимающимся в России отпускою торговлею немцам, англичанам, евреям, итальянцам, грекам, армянам и пр. и пр. К тому же, мы положим в основу нашего доказательства не факт — который, если нельзя опровергнуть, то можно, по крайней мере, отвергнуть — а положение, признанное всеми экономическими писателями без различия партий и школ. Дело в том, что, ежели кредитные рубли упали от излишка в их выпуске, то, кроме симптома ощущения чрезмерного прилива денежных знаков на рынки, болезнь эта имеет необходимо сопровождаться ещё тем признаком, что цена рубля на внутренних рынках должна быть если не ниже, то никак уже и не выше, чем на иностранных. Другими словами, если, как большая часть экономических писателей утверждает, неполноценность нашего кредитного рубля не есть следствие низкого вексельного курса, а просто упадок бумажных денег, обусловливаемый излишком их выпуска, то необходимо, чтобы ценность рубля внутри государства была, по меньшей мере, не выше заграничной его ценности, ибо, по теории этих писателей, упадок последней есть только отражение упадка первой; если же главный корень злу лежит в обстоятельствах внешней мены, то, очевидно, действие причины должно быть тем сильнее, чем ближе центр, из которого оно исходит, и должно ослабляться по мере того, как влияние внешнего рынка удаляется. Но все экономические писатели утверждают, что низкий курс содействует отпуску товаров: в этом отношении нет споров ни между различными теориями, ни между теорией и практикой. Посмотрим же, как производится это выгодное на отпуск товаров влияние.

Пусть французскому купцу выгодно заплатить за четверть пшеницы 32 франка, а русскому купцу выгодно продать её за $8\frac{1}{2}$ руб. Французский купец променивает 32 франка на 10 руб., по курсу 3 франка 20 сантимов, и отдаёт из них 9 руб. русскому купцу; последний чрез это имеет $\frac{1}{2}$ руб. лишнего против той цены, по которой считал выгодным продать свой товар; французский также купил пшеницу 3 франка 20 сантимов дешевле, чем думал. Выгода, следовательно, обоюдная, и нельзя, чтоб такое положение дел не благоприятствовало отпускной торговле. Но всё рассыпается в прах, если внутренняя ценность рубля не выше иностранной. Если она равна ей, то ведь русский купец получил не 9 руб., даже не 8 руб. 50 коп., а всего только 7 руб. 20 коп. Следовательно не низкий курс сам по себе, а более высокая ценность

денег на внутреннем рынке, чем на внешнем, составляет причину, благоприятствующую отпускной торговле. Пусть бы, в самом деле, у нас вовсе не было ассигнаций, но, вследствие каких-либо причин — хотя бы того же невыгодного баланса, — на золото и на серебро существовал значительный лаж. Пусть, например, ценность полуимпериала относительно всех других товаров считалась бы в 6 рублей. Иностранный купец, рассчитывающий, что ему выгодно заплатить за какой-нибудь русский товар 20 франков 60 сантимов, вручая их русскому купцу, вручал бы ему, по мнению сего последнего, 24 франков и следовательно из этих 20 фр. 60 сан. иностранец мог бы ещё нечто у себя сохранить, и всё же торг был бы для обоих сугубо выгоден. Из этого выходит одно из трёх: 1) или в настоящее время низкий курс (который будто бы не низкий курс, а упадок ценности рубля, зависящей от внутренних причин) нисколько не благоприятствует отпускной торговле; 2) или все русские купцы (в обширном, вышеобъяснённом, смысле этого выражения) совершенные идиоты, как малые ребята утешающиеся крупными числами, которыми им платят, не разбирая, рубли ли это, или другое что, лишь бы побольше выходило; или, наконец, 3) внутренний курс рубля стоит значительно выше внешнего, а, следовательно, и понижающая причина лежит извне и только отражается на внутренней его ценности, потому что не может же ни цена товаров вообще, ни в особенности цена денег, обрываться круче или падать водопадом, а должна стремиться к одному уровню, постепенно понижаясь и возвышаясь, хотя всё-таки будет стоять ниже там, где действие понижающей причины непосредственнее и ближе. Первую альтернативу отвергают сами экономисты, восторгаясь премудростью экономического порядка вещей, в котором всё само собою приходит в порядок и гармонию, точно как и в Божьем мире, только *laissez faire, laissez aller*. Выбор между второю и третьею альтернативами предоставляем собственному их вкусу...

Но если, таким образом, причина упадка нашей денежной единицы заключается в невыгодном торговом балансе, а не в излишестве выпущенных билетов, то разве можно помочь горю уничтожением известного числа кредитных билетов? Так как уменьшение числа обращающихся денежных знаков необходимо ведёт к возвышению их ценности, и так как ценность эта стремится повсеместно достигнуть одного и того же уровня, то возвышение курса, конечно, произойдёт и при этом, но только как? Курс этот будет подвержен влиянию двух причин, действующих на него в противоположном смысле, причём противоположность эта будет ещё сильнее, нежели ныне; и как причины эти совершенно разнородного качества, имеют так сказать не общую точку приложения в своём действии на курс, а, напротив того, точки, весьма удалённые одна от другой, то нейтрализовать друг друга они не могут, а могут только постоянно между собою бороться, и, попеременно пересиливая друг друга, одна извне, другая изнутри, должны усилить колебание курса, хотя средняя его высота и возвысится. Но, так как колебание в цене денежной единицы ещё вреднее самого упадка её, то

очевидно, что полезным образом исправить наш курс можно лишь исправлением торгового баланса.

Хотя сторонники доказываемого здесь взгляда и довольно часто изъясняли, что они понимают под „торговым балансом“ тем не менее, противники их притворяются как бы не слышащими, что им говорят, и, основываясь на официальных таможенных данных, утверждают, что торговый баланс и так в нашу пользу. Не думая вовсе опираться на неверность официальных таможенных показаний, хотя и в этом отношении были уважительные заявления, удостоверяющие, что ценность иностранных товаров обозначается ниже настоящей, повторим, во сто-первый раз, что баланс, сообразно с здравым смыслом, понимается в следующем виде:

повышают баланс:

1. Ценность нашего отпуска.
2. Минимальная величина, представляющая издержки иностранцев, путешествующих и проживающих в России, но почерпывающих свои доходы из-за границы.

понижают баланс:

1. Ценность объявляемого в таможнях ввоза иностранных произведений.
2. Ценность дозволенного без пошлины ввоза рельсов, подвижного состава для железных дорог и т. п.
3. Ценность контрабанды, которая, судя по азарту, с которым прусские газеты отвергают таможенный картель, должна быть очень велика.
4. Ценность правительственныеых заказов за границею для потребления армии, флота и т. п.
5. Сумма процентов, уплачиваемых правительством за внешние долги.
6. Сумма издержек, делаемых путешествующими и проживающими за границею русскими.

Ежели кто станет утверждать, что ценности левого столбца уравновешивают ценности правого, то остаётся только подивиться смелости такого храбреца, и позавидовать металлической твёрдости его лба. Всякое же сравнение, иным способом произведённое, должно считаться ни чем иным, как недобросовестною увёрткою.

В числе ценностей правого столбца мы не пометили ещё перевода наших капиталов в иностранные банки или бумаги, что также может понижать баланс. Это сделано с намерением. Так как у нас, говоря вообще, капитал даёт высшие проценты, чем за границею, то перевод этот может иметь место лишь вследствие опасения дальнейшего упадка курса, — упадка, который должен происходить от какой-либо из предшествующих причин; а так как причины этой нельзя искать в излишке денежных знаков, то приписывать упадок курса такому переводу капиталов за границу, значит принимать следствие за причину; но, разумеется, как упадок уже раз произошёл и всё более и более угрожает сделаться хроническим и даже возрастать, то бегущие от такой беды капиталы, в свою очередь, увеличивают зло ещё более. Точно так, давка на пожаре может увеличить число жертв его, но давка эта происходит уже от предшествующего ей пожара, а не сама произвела пожар. Но допустим, что драгоценные металлы ушли от нас именно вследствие перевода капиталов за границу: всё же собственниками этих капиталов остаются русские. Теперь завелось у нас несколько предприятий: железных дорог, банков и проч., которым дозволено вести счёт на иностранную денежную единицу, неподверженную колебаниям: почему же, спрашивается, капиталы эти не возвращаются обратно в Россию, когда не только процент, получаемый с них в России, будет выше, да ещё в пользу владельцев этих капиталов придётся вся разность между номинальною и действительною стоимостью кредитного рубля, которая была им во вред при переводе капиталов из России за границу?

Как, следовательно, ни верти дела, беспристрастный и непредубеждённый разбор признаков, обнаруживающихся при упадке ценности нашей денежной единицы, заставляет приписывать этот упадок не иному чему, как *продолжительному невыгодному торговому* или, чтобы точнее выразиться, *меновому балансу*.

III

Авторскому самолюбию простят, надеюсь, если осмелюсь льстить себя надеждою, что из многочисленного полчища приверженцев теории излишка денежных знаков и противников торгового баланса найдётся хотя один, который, убедясь вышеприведёнными доказательствами, отступится от учения, господствующего между экономическими писателями. Этот обращенец внушает мне, конечно, живейшую симпатию. Кому случалось забавляться решением так называемых „математических пешек“, тот поймёт его положение. Вам доказывают, например, что в треугольнике может быть два прямых угла. Вы очень хорошо понимаете нелепость вытекающих из

этого следствий и в состоянии привести множество опровержений, так сказать, со стороны; но самого хода предлагаемых вам доказательств не можете поколебать, не можете заметить, чем именно вас поддели. Это вас тревожит, и вы не можете успокоиться, пока не открыли уловки, которою вас обморочили. Не то ли же самое и с предполагаемым обращенцем? Видит он все несообразности, к которым приводит отвержение торгового баланса, а между тем не замечает той уловки, того софистического приёма, которыми успели его заставить отказаться от понятия столь естественного, как торговый баланс; и как бы новообращенец мой ни был убеждён, что отрицание торгового баланса ведёт к самым очевидным несообразностям в теории, к самым вредным последствиям на практике, всё же не может он успокоиться, пока не отыщет ошибки в самом процессе доказательства, которым отвергается этот баланс, пока не найдёт балансу теоретического оправдания. Вот в этом то и хотелось бы мне, прежде всего, ему помочь.

Как известно, учение о торговом балансе было установлено так называемою „школою меркантилистов“. Она утверждала, что драгоценные металлы составляют единственное богатство, всё же прочее, хотя и может быть весьма полезно, но само по себе ещё богатства не составляет. По её мнению, золото и серебро составляют как бы ценность по преимуществу. Такой взгляд признан ложным, и признан таковым по справедливости; но совершенно ли и вполне он ложен? Это весьма трудно допустить, ибо если бы в нём не заключалось какой-нибудь истинной стороны, которая прикрывала бы собою его общую ложность, то едва ли бы мог он получить такое обширное практическое применение, едва ли бы мог иметь на своей стороне таких людей, каков был, например, Кольбер.

Представим себе, что какой-нибудь купеческий дом вздумал прекратить свои дела, потому ли, что ему надоело заниматься торговлею или, ещё лучше, потому что вступивший в управление им наследник не чувствует в себе способности к торговле. В момент этого решения закромы его наполнены мукою, амбары — мешками с хлебом, кладовые — цибиками с чаем, грудами мехов и т. п. Может ли он считать все эти нужные и полезные вещи за действительное богатство? Очевидно, нет. Мехам непрестанно угрожает моль, чаю и муке — сырость, хлебу — мыши и слоники, всему — пожар, наводнение, или, и без этих несчастных случаев, просто упадок цен от обильного ли урожая, от перемены ли вкусов и мод и т. д. Действительным богатством в праве считать он всё это тогда, когда обратит в ту форму, которая, изо всех земных благ, наименее подвержена порче, перемене вкусов, насыщению рынка и зависящему от того упадку в цене, т. е. в форму золота и серебра. Только после этого обращения считает он свои капиталы *реализованными*, так что все прочие виды капитала в его глазах как бы недостаточно реальны. Следовательно, с точки зрения *купеческой конторы, ликвидирующей свои дела*, взгляд меркантильного учения оказывается совершенно основательным и разумным; неосновательно и неразумно только смотреть на государство, как на ликвидирующую свои дела контору, ибо при

этом оно, в случае исполнения своих желаний, впало бы в положение древнего короля Мидаса.

Ныне господствующая экономическая школа учит, что всё, что может быть в данное время предметом мены, имеет действительную ценность, а, следовательно, составляет настоящее богатство. Важно только то, чтобы при мене не быть обсчитанным, за промениваемую ценность получить как можно более ценностей вымениваемых, и, если это условие соблюдено, то и достигнуто всё, что от торговли требуется; а так как даром никто ничего не даёт, то нечего и толковать о балансе, ибо, по самой сущности дела, он всегда существует в вожделенном равновесии: ценность ввоза, по необходимости, всегда равна ценности вывоза, из чего бы впрочем, ввоз и вывоз не состояли. И действительно, с точки зрения *купеческой конторы*, не думающей заканчивать своих торговых оборотов, важно не то, получит ли она за вывозимый хлеб золото или индиго, а то важно — которое из этих двух вымениваемых веществ, по цене и по количеству, представляет собою большую ценность. Здесь понятие количественное вполне устраниет понятие качественное. Купеческая контора видит в индиго не вещество, окрашивающее в синий цвет, в сахаре — не подслащающее, в хлебе — не питающее, в вине — не подкрепляющее и развеселяющее и т. д., а только вещества, которые могут быть промениваемы на другие, при каковом процессе ценность вымениваемого всякий раз может возрастать, а для неё только это и нужно. И так, с точки зрения купеческой конторы, продолжающей вести свои торговые операции и из всех свойств вещей обращаясь внимание лишь на их ценность, взгляд нынешней экономической школы также совершенно разумен и основателен. Но так же ли основателен и разумен он с точки зрения государственной. Не думаем. Государство в этом отношении более уподобляется всякому потребителю, или производителю, нежели торговцу. Ежели землевладельцу, пославшему в город воз пшеницы, чтобы, продав её, купить на вырученную сумму сахару и чаю, пришлют вместо того дёгтю, то едва ли он утешится тем, что на дёгтю сделана ему большая уступка, так что ценность полученного им дёгтя не только равняется, но ещё превосходит ценность того количества сахара или чаю, которое он желал иметь. Почему же это так? Потому, что для землевладельца процесс продажи и купли заключается не просто в мене ценностей на ценность, каковы бы они ни были, а в приобретении определённых, для его специальных целей потребных, полезностей. Сахар важен для него именно по его сладости, а не по способности быть промениваему с большею или меньшею выгодою. Ценность вещи для него не более, как отвлечённое понятие, помогающее ему в расчётах, как средство приводить разные полезности к общему знаменателю, чтобы, так сказать, не сбиться в производстве сложений и вычитаний. Совершенно то же самое имеет место для торговли и с точки зрения государственной. И государство в понятие о мене ценностей необходимо привносит понятие о полезности, чего не делает купеческая контора. И для государства в целом также мало ещё, чтобы ценность вывозимого равнялась ценности ввозимого, а существенно

важно, что именно и в каком количестве вывозится и ввозится. Одним словом, как только понятие о полезности вступает в свои права при производстве мены, так вступает в свои права и понятие о торговом балансе.

Пусть, например, случился в России год посредственного урожая, при котором хлеба только что достаточно для прокормления её населения; пусть в то же время в Англии, Франции и Голландии, в тех странах, одним словом, куда Россия вывозит свой хлеб, случился голод. Примем далее, что все эти страны богаче России, как оно и есть на самом деле, и что они в состоянии заплатить в крайности по 20 руб. за четверть хлеба, тогда как для значительного числа русских эта цена, или даже и несколько низшая, равнялась бы необходимости есть мякину, древесную кору, или даже совершенно голодать. Если бы правительство русское в этом гипотетическом году не состояло из крайних доктринеров, для которых *perissent plutôt les colonies qu'un principe*, усомнилось ли бы оно запретить вывоз хлеба? А между тем, с точки зрения мены ценностей на ценности, против свободного вывоза хлеба ничего нельзя возразить, несмотря на то, что это повлекло бы за собою бедствие миллионов. С точки зрения купеческой конторы такое время было бы даже самым удобным для вывоза, именно таким, когда можно продать дорого и купить дёшево. Тем не менее большинство здравомыслящих, неотуманенных одностороннею теориею людей согласится, что такой вывоз хлеба был бы гибелен для государства. Но ведь вред этот заключался бы не в чём ином, как в том, что торговля в этом году представляла бы для России крайне невыгодный *торговый баланс по отношению к хлебу*. Если обращать внимание не на одну отвлечённую ценность, а на действительную полезность вымениваемых вещей, то можно представить тысячи примеров такого невыгодного баланса — невыгодного по весьма различным причинам. Например, по Либихову учению страна, не потребляющая своего хлеба и вообще произведений своей почвы внутри её самой, необходимо должна истощать свою почву. Г. Андреев, в статье, напечатанной в „Современной Летописи“ (№ 38, 39 и 40 за 1866 год) в защиту свободной торговли, совершенно неправильно объясняет это учение, утверждая будто бы из него вытекает, что почва служит только местом прикрепления для растений, а питание должно им доставляться удобрением. Если б почва служила лишь местом прикрепления для растений, тогда-то именно и не требовалось бы никакого удобрения, растения питались бы, значит, только воздухом и водою. Но в том то и дело, что, в конце концов, удобрение необходимо; удобрением же может служить лишь то именно, что было извлечено из почвы — известные соли, в известной пропорции. Добыть это удобрение можно, пожалуй, извне, как, например с гуаных островов, из минералов, или из остатков морских животных, заключающих в себе фосфорную кислоту, из веществ, содержащих калий и т. д. Но все эти посторонние источники не только по большей части дороги, но истощимы: поэтому Либих и ставит в образец рационального земледелия не Англию, где таковое удобрение из внешних источников производится в обширнейших размерах, а Китай, куда не ввозится и золотника удобрительных веществ, а

где между тем почва сохранила своё плодородие в течение тысячелетий сильной культуры. И это весьма понятно, ибо только то может считаться неистощимым, что циркулирует и постоянно само в себя обращается; но если зерно вывозится, то заключающиеся в нём удобрительные вещества почве уже не возвращаются. Вот смысл Либихова учения, и с точки зрения этого учения можно утверждать, что торговый баланс страны, постоянно вывозящей зерно — невыгоден в отношении к плодородию её почвы. Из этого, впрочем, не следует ещё, чтобы должно было принимать уже чересчур заблаговременно меры к ограничению вывоза хлеба, ибо запас питательных веществ в почве может быть очень велик, и не пользоваться им из страха будущего было бы смешно; тем не менее, с теоретической точки зрения можно всё-таки утверждать, что при вывозе зерна баланс страны невыгоден в отношении сохранения плодородия её почвы. С более практической точки зрения позволительно утверждать то же о лесах, о рыбе, добываемой из внутренних источимых бассейнов, и т. д. Или — допустим, что какая-нибудь страна обладает копями серы не слишком богатыми, но впрочем достаточными для потребностей её армии. Если бы, увлекаясь высокою заграниценою ценой, стали бы отпускать продукт этот за границу в таком количестве, что не могли бы составить необходимых на случай войны запасов (факт, который трудно себе, впрочем, представить, потому что едва ли какое правительство в таком деле послушает проповедников свободной торговли), то торговый баланс был бы невыгоден в военном отношении. Но, если какая-либо страна, источником продовольствия которой не может считаться весь мир, так как она не преобладает на море, должна в случае войны ощущать недостаток в каком-нибудь весьма употребительном произведении, хотя бы оно и не принадлежало к числу непосредственно необходимых для войны материалов, — произведении, которое могло бы, однако же, с успехом производиться внутри страны — а между тем выписывает его из заграницы, то не вправе ли мы сказать, что и в этом случае торговый её баланс невыгоден в военном отношении; ибо этот недостаток не может же не оказывать во время войны неблагоприятного на неё давления. Так, например, не гораздо ли легче было для нас переносить в известном отношении последнюю восточную войну, когда мы имели свой свекловичный сахар, чем английскую блокаду после Тильзитского мира, когда у нас своего сахара не было? А как тяжело будет переносить войну, которая может лишить нас рельсов и подвижного состава железных дорог, когда сами к тому времени не будем ещё в состоянии приготовлять их?! Одним словом, хотя бы ценности отпуска и ввоза были равны между собою, торговый баланс будет невыгоден для страны, когда она отпускает за границу какого-либо своего продукта больше, чем сколько бы оставалось его, за удовлетворением собственных её надобностей. При известных обстоятельствах, например в случае войны, баланс может сделаться невыгодным и тогда, когда страна ввозит такой продукт, который могла бы выделять у себя. Можно сказать вообще, что для всякой страны торговый баланс угрожает сделаться, при известных случаях, невыгодным, если

разнообразие производимых ею продуктов не велико, если всё, что она производит — в одном роде. Пусть, например, посвятит себя страна исключительно шёлководству, как персидская провинция Гирань, и вдруг случится болезнь червей, или что-нибудь подобное: лишившись шёлка, она лишается не его одного, а разом всех средств для удовлетворения своих потребностей. То же относится к хлебу, вину, или даже вообще к исключительно земледельческой промышленности. Страна может долгое время благоденствовать, пробавляясь одним родом произведений, но над ней постоянно будет висеть Дамоклов меч: нельзя сказать, чтобы в данное время торговый баланс её был невыгоден в действительности, но он будет постоянно невыгодным в возможности.

Теперь спрашивается: заключают ли в себе драгоценные металлы какую-либо специальную полезность или нет: и если они заключают в себе таковую, то почему же представляют такое странное исключение, что не могут сделаться предметом невыгодного торгового баланса? Свойство этих товаров, напротив того, таково, что они всего легче могут представить собою случай невыгодного баланса; почему, когда говорят о нём, то и применяют это выражение специально к драгоценным металлам, употребляя его в теснейшем смысле. Способность же драгоценных металлов легче всякого другого продукта представлять невыгодный баланс заключается в том, что сбыт их почти неограничен. И рад бы вывезти больше хлеба, когда напрасно гниют и поедаются мышами по нескольку лет немолоченные скирды, да рынок уже насыщен хлебом. Золото же и серебро суть именно те товары, для которых граница насыщения рынков наиболее отдалена; они легче расходятся, так сказать растворимее в потребностях, чем всё остальное. Потому и предстоит наибольшая опасность выпустить их из страны в таком количестве, что останется их меньше, чем требуется для внутренних надобностей — та же самая опасность, что и с хлебом в год посредственного урожая, когда за границею голод, ибо на золото почти всегда голод, а урожай его по нуждам нашим весьма посредственный.

И так, несмотря на всю видимую противоположность между школою теперешних экономистов и школою меркантилистов, в сущности различие между ними по занимающему нас предмету весьма не велико; и та, и другая, смотрят на торговлю с точки зрения купеческих контор: одна — с точки зрения конторы, продолжающей свои дела, другая — с точки зрения конторы ликвидирующей дела, потому что обе обращают внимание лишь на одно из свойств вещей, на их ценность, видя её, одна — лишь в золоте и серебре, другая — во всякой вещи безразлично; но ни та, ни другая, не обращают внимания на действительную полезность вещей, которая одна только и важна, как для потребителей и для производителей, так и для государства вообще. Обе школы, следовательно, могут быть одинаково названы „меркантильными“. Ценность составляет такое свойство вещей, по которому они делаются, так сказать, соизмеримыми между собою; потому, всякая ценность может быть заменена, без сомнения, всякою другою ценностью, лишь бы было между ними арифметическое равенство: с этой точки зрения

торговый баланс действительно не имеет смысла, и экономисты *правы*. Но это — точка зрения ведущей свои дела купеческой конторы. Если же золото и серебро представляют действительные, реальные ценности, что с известной точки зрения также справедливо, то выгодною торговлею может считаться только та, которая доставляет драгоценные металлы, и чем больше, тем лучше: *правы и меркантилисты*. Но это — взгляд купеческой конторы ликвидирующей свои дела. С точки же зрения государственной, конечно, нелепо утверждать, что чем больше получается из-за границы золота и серебра, во что бы то ни стало, тем лучше, и что всякий вывоз этих металлов убыточен. Но совершенно основательно думать, что как ввоз, так и вывоз всевозможных товаров может быть как излишним, так и недостаточным, что на совершенно одинаковых правах с другими товарами состоят и драгоценные металлы, что их вывоз может быть излишен, или ввоз недостаточен; и что этот недостаток нисколько не вознаградится излишним ввозом другого рода товаров, хотя бы равным по ценности, — потому что *полезности вещей между собою не соизмеримы*, потому что сахар не заменим ни каким количеством дёгтя, и наоборот; а одни только полезности и важны со всякой, кроме купеческой, точки зрения, которая, по своей особенности, действительно имеет дело только с ценностями. *И права будут те, которые, не преувеличивая значения торгового баланса в тесном смысле этого выражения, признают его значение в смысле общем, при котором вывоз драгоценных металлов, как и всего остального, может быть и не быть вредным, смотря по обстоятельствам.*

IV

Я старался показать выше, что только состоянием менового баланса России и можно удовлетворительно объяснить упадок курса наших кредитных билетов. Следовательно, всё, что в состоянии улучшить баланс, должно считаться для России полезным, и одно это основание заставляет уже защищать покровительственный тариф, так как он уменьшает ввоз. Но вникнем в покровительственную систему саму по себе, и посмотрим, не окажется ли в пользу её других соображений, как общих, так и специальных для России.

При этом входит мне в голову следующая аналогия. Одна, не только весьма уважаемая, но и весьма уважительная газета, по великим услугам, оказанным ею русскому обществу, вела победоносную войну за основанное на изучении классических языков воспитание юношества. Но в том, что было писано об этом предмете, как в этой газете, так и в других журналах и книгах, мне, по крайней мере, не случилось встретить убедительного теоретического доказательства тому, чтобы в самом существе греческого и латинского языков присутствовала специальная сила, которая присваивала бы им способность изощрять и воспитывать молодой ум лучше, чем могли бы то сделать другие предметы учения. В пользу этого „Московскими Ведомостями“ было употреблено, однако же, одно доказательство, которое, если не в теории, то на практике, совершенно удовлетворительно решает этот

вопрос. Образование, основанное на изучении классических языков, доказало опытом наиболее просвещённых народов (немцев, французов, англичан), что оно может служить пьедесталом весьма высокой цивилизации, и, хотя бы мы думали, что другая метода воспитания может дать ничем не худшие, пожалуй даже лучшие результаты, но как такое мнение не подтверждено путём опыта, то для государства молодого было бы опасно, отвергнув *основанное на опыте хорошее*, пуститься на удачу отыскивать *ещё лучшее*. Но, если такое доказательство, в практическом отношении, по крайней мере, достаточно убедительно в педагогии, почему же доказательство совершенно однородное считается недостаточным, когда дело идёт о развитии промышленности? Согласимся, что вне покровительственного тарифа есть, может быть, несравненно действительнейшие средства содействовать промышленному развитию государства; но зачем же гнаться нам за этим *лучшим в возможности*, отвергая то, что на опыте Англии, Франции, Пруссии и, в новейшее время, Соединенных Штатов оказалось *прекрасным в действительности*?

Впрочем, какие же это такие покровительственные меры промышленности — кроме тарифа? Те, кому не желательно, чтобы что-нибудь в самом деле делалось, по каким бы то ни было причинам, — по увлечению ли одностороннею теорией, по боязни ли сметь своё суждение иметь, по другим ли более практического свойства соображениям, — можно быть уверенным, выставят на первый план по этому вопросу — *распространение просвещения*. «Всякого улучшения в этом деле надо ожидать, дескать, едва ли не единственно, от распространения просвещения». Средство это имеет, между прочим, то неоценённое качество, что, хотя бы в данном случае действие его и было подвержено сомнению, или, по крайней мере, оказывалось столь медленным, что пока дождёшься результатов его, может невесть сколько бед натвориться, тем не менее, само по себе оно так благотворно, что против него никак уже нельзя восставать. В России, как известно, есть не только ярые защитники свободной торговли, но и свободного пьянства, и всякое предлагаемое против этого зла средство кажется им, или негуманным, или недействительным, или по чему-то ни было негодным, кроме лишь одного распространения просвещения. Правда, что уровень просвещения, который необходим, чтобы служить противоядием пьянству — весьма высок: дабы достигнуть его низшим классам народа, при наиблагоприятнейших условиях, мало и ста лет; правда и то, что не только между образованными, но даже и между учёными людьми не мало можно указать пьяниц; правда, что даже высокопросвещённые римляне в самый золотой век их просвещения были, а не менее их высокопросвещённые англичане суть и по сей день преусердные поклонники Бахуса; правда, что затруднение доступа к вину составляет, если и не столь радикальное, то более скорое средство, чем идеальная степень просвещения, которой нигде и никогда *ещё* не достигали — всё это в расчёт не принимается: в глазах поборников свободы пьянства, просвещение всё-таки остаётся единственным рациональным средством к излечению этого порока. Точно также и для

фритредеров, чуть ли не единственным рациональным средством к развитию промышленности является распространение общего и технического образования. Что оно действительно составляет такое средство, в этом никто не сомневается; но, во-первых, достаточно ли оно, и, во-вторых, нет ли другого более скорого средства, которое притом со временем даже само вызвало бы это техническое образование? — вот в чём вопрос. Любопытно бы, например, узнать, была ли Франция более или менее технически и всячески образована до Кольбера, чем теперешняя Россия, и если была более образована, то почему же, несмотря на это, промышленность ждала там для своего развития, чтобы этот великий государственный муж завёл покровительственные тарифы; а если была менее образована, то опять таки, почему, несмотря на это, промышленность так быстро и сильно развилась, да и само техническое образование явилось, как скоро были заведены высокие тарифы?

Словом, тариф есть ни что иное, как средство обеспечить за внутренними производителями выгодный сбыт их произведений, оградив от соперничества иностранцев, с которыми они, по разным причинам, без этого соперничать не могут. Чтобы доказать, что средство это недействительно, неразумно и вредит государственному благосостоянию, надо доказать одно из следующих положений:

- 1) *Что обеспечение выгодного сбыта не составляет коренного условия для развития каждой отрасли промышленности, и тариф не обеспечивает такого сбыта внутри государства; или.*
- 2) *что, содействуя возникновению промышленности ограждением её от иностранной конкуренции, таможенное покровительство делает невозможным её усовершенствование или, по крайней мере, затрудняет его; или*
- 3) *что, хотя это обеспечение и содействует развитию промышленности одного рода, но тем самым вредит другим отраслям промышленности; или, наконец,*
- 4) *что развитее промышленности посредством покровительственного тарифа налагает такие тягости на народ, что получаемая от него выгода не окупается,*
т. е. что лекарство хуже болезни.

Разберём же силу этих возражений, под которые подводится весь фритредерский арсенал.

1. Что касается до *первого положения*, то я думаю, что самые ревностные защитники свободной торговли не решатся на такую фронтальную атаку на пролом; по крайней мере, всё, что они могут против этого возражать, будет заключаться в голословных уверениях, или в урывочных, неосмыслиенных цифрах, в роде приведённых г. Молинари в его „блестательной“ речи, или, лучше сказать, реприманде начинаящим отбиваться от рук ученикам, подавшим было семь лет тому назад столь блестательные надежды. С этой стороны, кажется, опасаться нечего, и если

позиция протекционистов столь же крепка с флангов и с тылу, то армии их нечего сомневаться в победе.

2. Зато *второе положение* составляет один из самых сильных и любимых фритредерских аргументов. Какова эта сила, показывает, между прочим, следующий любопытный, но совершенно необходимый из него вывод. Если бы когда-нибудь осуществилось на земле всемирное государство, то ему пришлось бы отказаться от всякой надежды на улучшение и удешевление произведений промышленности, так как внешней конкуренции, существенно необходимой для всякого промышленного усовершенствования, взять бы было не откуда, и экономистам этого всемирного государства ничего не оставалось бы делать, как обращать полные мольбы и упования взоры на Венеру, Марса или Юпитера, ожидая, не появится ли оттуда спасительная внешняя конкуренция, ибо внутренняя, ведь, как бы ни был обширен круг её, решительно никуда не годна. Точно также, по этому взгляду ничего не остаётся, как горько сожалеть о том, что князья Московские поуничтожали уделы. То-то бы экономическая жизнь была! Теперь, хоть и уничтожь таможни, будут соперничать с Москвой Англия, Франция, Германия, а тогда, сверх того, оказывали бы самое действительное и полезное соперничество Ростов, Муром, Сузdalь, Владимир, Тверь, Белоозеро, Рязань, Можайск, Веря и т. д.; соперничество, которое теперь всякой экономической поощрительной силы лишилось, потому что города эти составили с Москвою одно *политическое* целое. Словом, всё это доказательство вредоносности покровительственных тарифов сводится к тому, что влияние конкуренции на улучшение и удешевление промышленного производства зависит не столько от обширности её круга, сколько от политической самобытности конкурирующих стран. Единственно, что можно придумать в пользу такого предпочтения, оказываемого конкуренции внешней пред внутреннею, заключается в том, что экономические условия внутри одного государства предполагаются слишком однообразными, чтобы в нём могла возникнуть деятельная конкуренция. Если бы мы имели дело с государствами вроде Швейцарских кантонов или Немецких вольных городов, то, конечно, возражение имело бы свою силу; но какое же может оно иметь применение к России?

Впрочем, посмотрим на факты. Самый крайний результат покровительственного тарифа относительно внешней конкуренции будет состоять в том, что он совершенно изгонит иностранные продукты с внутреннего рынка. Хуже этого для конкуренции ведь ничего уж не придумаешь. Предполагаемое вредное от этого влияние на усовершенствование промышленности нисколько не изменится от свойства причины, устраняющей иностранные произведения с внутреннего рынка. Если нет там этих произведений, то и внешней конкуренции нет, а почему их нет, это уж всё равно. Если так, то чем же объяснить совершенство, достигнутое производством шалей в Кашмире, лаковых изделий в Японии, фарфора, шёлка, красок и всей земледельческой промышленности в Китае?

Ведь все эти отрасли промышленности достигли высочайшей степени совершенства без благодетельного влияния внешней конкуренции. Не мудрено отыскать примеры подобных же усовершенствований и в том случае, когда устранение внешней конкуренции происходило именно вследствие покровительственного тарифа. Достаточно указать на лионские шёлковые материи. Впрочем, я должен сознаться, что сильно ошибся, сказав, что всё равно, чем бы внешняя конкуренция не отстранялась, но ошибся не в свою пользу. Когда китайские промышленники совершенствовали свои шёлка, краски и фарфоры, им, конечно, не приходило в голову, что вдруг нагрянут „рыжие варвары“ и навезут им этих произведений по такой цене и такой доброты, что им ничего не останется как бросить своё дело; поэтому они и не боялись затрачивать, ни своего капитала, ни своего труда, на эти отрасли промышленности. А когда „варвары“ стали толкаться в ворота Небесной Империи, китайцы, в этом отношении, смело могли сказать: ну-ка попробуйте поконкурировать. Так же точно и французы имели счастье заняться усовершенствованием своей шёлковой промышленности в такое время, когда всякая мысль о допущении иностранных шёлковых товаров показалась бы и вверху, и внизу сущим сумасбродством. Но если над покровительствуемою промышленностью вечно висит Дамоклов меч прекращения или ослабления (часто равняющегося прекращению) этого покровительства, как же ожидать, чтобы кто-либо стал затрачивать труд и капиталы на эти не покровительствуемые, а скорее угрожаемые промышленности? Конечно, кто завёл фабрики во время оно, будет поддерживать их, пока возможно, но не много найдётся смельчаков, которые стали бы заводить новые, или тратить значительные капиталы на улучшение старых. При этом внутренняя конкуренция, конечно, не может развиться в полной своей силе, и может казаться, что эта внутренняя конкуренция по самой сущности своей не достаточна. Русскую промышленность упрекают, что 44 года тарифного ограждения мало принесли ей пользы. Но, во-первых, мало ли — это ещё вопрос, и, во вторых, не во всём ли всякое начало идёт медленно? А после этого начала, на которое в таком деле как возникновение мануфактурной промышленности, ведь надо же положить хоть десятка два годов, много ли времени оставалась она в спокойном обладании своею будущностью? Чему же удивляться, что внутренняя конкуренция не выказала всей своей подстrekательной силы.

3. *Покровительство, оказываемое некоторым отраслям промышленности, вредит другим промышленностям.* Нельзя не сознаться, что положение это в таком общем виде страждет большою неопределённостью. Чтобы рассуждать, так ли это, или не так, надо бы знать, вредят ли эти покровительствуемые промышленности всем вообще менее счастливым сёстрам своим, или только некоторым, и притом какая — какой. Неужели, например, покровительство свёклло-сахарной промышленности вредит охоте за соболями и рябчиками, или производству икры и рыбьего клея? Факты, по крайней мере, ничего подобного не указывают. Значит, если покровительство одним промышленностям и вредит другим, то уже, во

всяком случае, не всем, а лишь некоторым. Каким же? Для этого делят промышленности страны на естественные и искусственные, утверждая, что покровительство искусственных убивает естественные. Но охота за соболями и рябчиками, так же, как выделка клея и икры, принадлежит в России к числу промышленностей наиестественнейших. Возразят, может быть, что эти уже чересчур естественны, составляют так сказать природную монополию, и их поэтому ничем не проймёшь, да притом и вредящие, и вредимые уже слишком разнородны, ничего общего между собой не имеют. Хорошо. Возьмём в пример вредоносной покровительствуемой промышленности архинеестественную, а в пример бедствующей от неё естественной — такую, которая обладает лишь весьма среднею мерою естественности. Наложим на апельсины пошлину в 5, в 10 руб. за десяток. Вследствие этого, пусть настроят оранжерей и начнут выводить в них апельсины и продавать по 11 и 12 руб. десяток. Что из этого произойдёт? Апельсины станут есть немногие, и то более из тщеславия, как теперь едят зимой вишни или спаржу. Сами экономисты утверждают, что существует закон, по которому, когда какой продукт дешевеет, то потребление его возрастает в пропорции сильнейшей, чем удешевление, т. е. что производство потребляемого товара не только не уменьшается от понижения цены, но идёт возрастает. Если это справедливо, то должно быть справедливо и обратное, т. е. что при вздорожании товара потребление его должно уменьшаться в пропорции сильнейшей, чем вздорожание. Следовательно, более или менее значительная часть денег, уходивших на апельсины до обложения их пошлиною, должна оставаться в карманах потребителей апельсинов. Куда же они пойдут? Известно, что привыкший пить кофей, если он обеднеет или кофей вздорожает, станет пить цикорий; привыкши пить кяхтинский чай — станет пить кантонский, хотя гораздо благоразумнее бы поступил, если бы обратился к мяте, шалфею и душице; привыкший к сахару перейдёт к патоке: мне известны примеры, что иногда по лестнице суррогатов спускаются с сахара даже на вяленую репу и пьют чай с нею в прижовку. И так, более чем вероятно, что потребители апельсинов заменят их другими плодами, и на оставшиеся у них свободные деньги станут покупать груши, яблоки, вишни, крыжовник, смородину, от чего внутреннее садоводство необходимо разовьётся. Значит пошлина на апельсины, как бы она ни была странна в других отношениях, не только не убила бы, а напротив того содействовала бы развитию весьма естественного и сродного с апельсиноводством садоводства. Правда, можно вообразить случай, когда бы этого не произошло, именно когда на устройство апельсинных оранжерей употребили бы до последней копейки все имеющиеся в государстве свободные капиталы; но на сколько это вероятно, предоставляю судить самим противникам промышленного покровительства. Впрочем, и в этом, крайне невероятном случае разведение новых садов только не много бы замедлилось. В самом деле, ведь у потребителей апельсинов остались бы лишние деньги в кармане, и желающие разводить сады не могли бы не знать этого, на основании самых простейших соображений; следовательно, вся хитрость заключалась бы в том, чтобы

выманиТЬ у потребителей эти деньги вперед под залог будущих яблок, груш и т. д., что, при столь, верном расчёте, весьма легко совершается посредством кредита.

Может и этот пример покажется не убедительным уже по самой резкости своей. Возьмём же тот, который чаще всего употребляется самими ревнителями свободной торговли, т. е. злокозненную хлопчатобумажную промышленность и страждущую от неё, столь любезную фритредерскому сердцу, льняную и полотняную. Эти две промышленности внушают мне следующую дилемму. В то время, как оказывается тарифное покровительство хлопчатобумажной промышленности, оно также оказывается и промышленности полотняной, и притом в достаточной мере; или же оно ей не оказывается, или, по крайней мере, оказывается не в достаточной мере. Ведь одно из двух, третьего ничего не выдумаешь. Ежели оно оказывается, то спрашивается, почему же капиталы не приливают к полотняным фабрикам, точно так же как к ситцевым и миткалевым? Ежели же покровительство не оказывается, то причину бедственного положения полотняной промышленности ближе всего искать в том, что она не покровительствуется, чем в том, что покровительствуется её соперница. Но положим, что миазм покровительства так тоно^к, что просачивается и сквозь эту дилемму. Уничтожим же мысленно всякую пошлину на хлопчатобумажные ткани. Они должны от этого чрезвычайно подешеветь: иначе из чего же бы и биться друзьям потребителей? По вышеупомянутому экономическому закону, потребление бумажных тканей возрастёт в пропорции сильнейшей, чем их удешевление, и очевидно, что сбыт полотняных изделий будет ещё менее в состоянии соперничать с бумажными, чем до снятия пошлины с сих последних.

Что хлопчатобумажные ткани повредили полотняным, это бесспорно и весьма естественно; но столь же бесспорно, что без покровительства они повредили бы им ещё в гораздо большей степени. Может быть, это станет яснее из другого примера. Производство стеариновых свеч совершенно уничтожило производство свеч восковых (исключая лишь приготовляемых для целей богослужебных). Но стеарин в Россию не ввозится, покровительства не требует и потому тут нет повода клепать на тариф. Но представим себе, что стеарин также мог бы идти к нам из-за границы, и чтобы завести у себя стеариновое производство, наложили бы на него пошлину. Должно полагать, что стеариновые свечи были бы у нас дороже нынешнего, однако вероятно всё ещё дешевле восковых. Неужели фритредеры и тогда стали бы кричать, что покровительство стеариновым свечам убило восковые, и утверждать, что если бы снять с них пошлину, т. е. ещё удешевить их, то производство восковых свечей у нас бы процвело? Никакого нет сомнения, что они стали бы так кричать, ибо неумолимая логическая последовательность их к тому принуждает. Разве признать, что она им не в закон! Сколько ни думаю, не вижу иного средства помочь полотняному производству, через посредство хлопчатобумажного, как наложить в пользу этого последнего высокий тариф на иностранные

бумажные ткани, да, в добавок к тому, всякому, кто придёт просить разрешения устроить прядильную миткалевую или ситцевую фабрику, отказывать в таковом, делая отеческое внушение, что не стать, мол, заниматься неестественными фабрикациями, а заводите-ка полотняные фабрики. Разве тем, что не так это делается, виноваты миткали и ситцы? Другой же вины против полотен в них не обретаю.

Поискать разве ещё примеров. Беру статью г. Андреева (№ 39 „Современной Летописи“ за 1866 год), и вижу: „Развиваясь естественно, они (т. е. покровительствуемые отрасли промышленности) воспитались бы на основе экономии, и, например, промышленность хлопчатобумажная не ожидала бы американского кризиса, чтобы обрабатывать азиатский хлопок“. Вооружаюсь опять дилеммой и говорю: азиатский хлопок до американского кризиса был или дороже, или дешевле американского, или в одинаковой с ним цене. Если он был дороже и не употреблялся при тарифе, при котором цена тканей дорожает, то тем паче не употреблялся бы без тарифного покровительства; если он был дешевле, то в гг. хлопчатобумажных фабрикантах должно видеть в некотором роде Косьму и Дамиана бессребреников, так как, получая 10, 20, или сколько там угодно, процентов барыша, добровольно отказывались они зашибить ещё пяток-другой лишних процентиков. Но в этой гипотезе — гипотезы, ведь, тогда только и хороши, когда объясняют все подлежащие им явления, — должен я разубедиться, узнав, что как только американский хлопок вздорожал, хлопчатобумажные фабриканты оставили своё похвальное бессребреничество и обратились таки к азиатскому. Наконец, если он был в одной цене с американским, то не вижу, почему бы основа экономии требовала от них предпочтения бухарскому хлопку перед американским? — Если, за всем сказанным, и эта дилемма покажется недовольно строгою, то беру слова г. Андреева и делаю в них маленько изменение: „Развиваясь естественно, они (т. е. *не* покровительствуемые отрасли промышленности) воспитались бы на основе экономии, и, например, английская хлопчатобумажная промышленность не ожидала бы американского кризиса, чтобы обрабатывать индийский, китайский, бразильский, египетский, малоазиатский хлопок“. Так как, оба умозаключения оказываются одинаково справедливыми при совершенно противоположных посылках, то заключаю, что обе посылки ровно никуда не годятся, что оба умозаключения совершенно от них независимы, и что ни покровительство, ни непокровительство, нисколько не причастны в том, что до американского кризиса все пользовались главнейше американским хлопком, а не другим каким.

Возьмём ещё пример, которым опять снабдит нас г. Андреев. По его словам, гг. Скальковский и Краевский (брошюры их не имел удовольствия читать, но, судя по разумной цели, полагаю, что, должно быть, брошюра хорошая) говорят, что почему-то мыло у нас дурного качества, и по этой причине за границу нейдёт. Г. Андреев находит, что такое свойство нашего мыла весьма естественно, ибо откуда же взяться хорошему мылу, когда покровительствуют свекольному сахару, миткалям и ситцам? „Отдайте“, —

говорит, — „народной промышленности 66 млн, которые ежегодно берутся у ней так называемым покровительством, тогда увидите, что будет!“ Давайте, посмотрим, что будет. „Шестьдесят шесть миллионов берутся у народной промышленности“. Не понимаю: если они берутся у народной промышленности, то куда же они деваются? Очевидно, что они передаются в руки фабрикантов, занимающихся производством покровительствуемых фабрикатов, и составляют их барыш; а если они ведут свои дела не по основе экономии, то поступают в карманы тех, которые пользуются этим недостатком экономии. Фабриканты, как я слышу, вовсе не заботятся ни об лишних кубических дюймах, занимаемых их строениями, ни о лишних, идущих на них, кирпичах. Это несомненно уменьшает их барыши, но зато увеличивает доходы кирпичных заводчиков и заработка каменщиков, подрядчиков и рабочих; вероятно, то же должно разуметь и о столярах, кузнецах и плотниках. Как бы то ни было, я не вижу, чтобы 66 млн отнималось у промышленности; всё, с чем я могу согласиться, это то, что 66 млн отнимаются у потребителей, положим самым несправедливым и насильственным образом, и передаются покровительствуемым фабрикантам и всем прямым или косвенным участникам в привилегированной фабрикации. Это, конечно, было бы весьма дурно; но рассуждение об этом отлагаю до следующего пункта, имеющего трактовать о тягостях, налагаемых на народ и государство покровительственною системою. Пока ограничиваюсь тем, что 66 миллионов не отнимаются у промышленности, а только передаются из рук потребителей в руки вышепоименованных лиц. Но, спрашивается, почему же из рук этих лиц они точно так же не могут поступить на усовершенствование мыловарения, как поступили бы из рук первоначальных своих хозяев-потребителей? Приходится опять прибегать к гипотезе бессребренничества. Передаются им страшные капиталы; могли бы весь государственный долг уплатить, да ещё 12500 вёрст железных дорог построить, а даже и мыловарения не могут усовершенствовать: что они только делают с этим капиталом, уму непостижимо! Скажут, они затрачивают их на покровительствуемое фабричное производство. Позвольте, на это они получают ещё почти в два с половиною раза столько же, т. е. 144 млн в год, а 66 млн — это их барыш, или плата за неэкономию, т. е. излишние доходы каменщиков, мастеров, работников. Виноват: работники тут не причём; они, как известно, в выгодах покровительства не участвуют. Чтобы всему этому народу не уделить хоть частички на усовершенствование мыловарения, как бы это несомненно сделали потребители, если бы 66 млн оставалось в их распоряжении! Нет ли уже, полно, в мыловарении чего либо такого, что бы ослабляло надежду с выгодою сбывать усовершенствованное мыло за границу? Прежде чем приступить к этому последнему ресурсу, посмотрим ещё, не ошиблись ли мы как-нибудь. Попробуем испытанное средство, уничтожим мысленно покровительственный тариф. Вследствие этого, или фабриканты примутся за ум и станут отпускать за 144 млн то, за что прежде брали 210 (144+66) млн или же все их фабрики лопнут, и потребители станут получать сахар, ситцы и

т. д. из-за границы; а 66 млн у них, в том и в другом случае, останутся в кармане. Из них-то вероятно и уделится частица на мыловарение. Но неумолимый экономический закон гласит, что с ущерблением произведений, потребление их возрастает в сильнейшей пропорции, чем само ущербление: значит, по меньшей мере, все 66 миллионов опять таки уйдут на ситцы, да на сахар, а на мыло опять таки ничего не останется. Скажут, что эти 144 млн, да ещё в добавок 66 млн чем-нибудь да надо же будет уплачивать. Конечно; но ведь ныне же их уплачивают, не прибегая к усовершенствованию мыла: тем же и тогда будут уплачивать, и всё я не вижу, как и на что мыло усовершенствуется. А, вот, кажется, нашёл — ведь, сахар и ситцы покупают не все одни потребители *sensu strictiore* — потребители в теснейшем значении этого слова, ничем кроме потребления не занимающееся, — а, например и производители ситца также покупают сахар, и в последнем результате платят за него ситцем; а производители сахара также покупают ситцы, и в последнем результате платят за него сахаром; но ни ситцев у первых, ни сахару у последних не будет, когда эти продукты станут из-за границы получаться, и господам, выделявшим их в былое время, при покровительственном тарифе, придётся *volens nolens* мыло варить усовершенствованным образом, чтобы было с чем чай пить и из чего своим жёнам платья шить (как тарифа не будет, куда уже им о шёлковых думать!). Казалось бы так, да вот опять затруднение. Чтобы начать мыло варить, необходимо также иметь капитал. Если таковой у них будет иметься в момент уничтожения тарифа, то, значит, он был у них уже в тарифное время, независимо от того, который обращался в ситцевом или свёклосахарном деле (у них, или у каменщиков, плотников, приказчиков и т. д., обогатившихся от неумения хозяев экономно вести дела, — это всё равно). А если он был у них в это печальное время, то что же мешало тогда употребить его, самим ли непосредственно, или, одолжив кого за хорошие проценты капитальцем, на усовершенствование мыловарения (разумей под этим так сказать алгебраическим выражением и всякое другое непокровительствуемое и у нас неразвивающееся производство), если бы такое обещало выгоды? Кружили, кружили, а всё-таки пришли к тому же *если бы*. Нечего делать, надо посмотреть, нет ли в самом усовершенствованном мыловарении какого-либо изъянца, отпугивающего предпринимателя. На хорошее мыло, как известно, нужна сода. А соду откуда прикажете взять? Она, ведь, у нас из-за границы получается: где же нам заграничные сырье материалы обрабатывать, да в обработанном виде с барышком за границу переправлять? Это нам не полагается: и своих-то не моги обрабатывать, а отсыпай сырьём. Да неужели же земля наша велика и обильна, а соды, точно порядка, в ней нет? Как не быть, даже слишком много; поменьше было бы, лучше бы было; да для хорошего и вместе дешёвого мыла все равно, как будто бы её и не было: на соль, из которой сода добывается, у нас акциз наложен; как же быть дешевой соде, а, следовательно дешёвому, и хорошему мылу? Да этого ещё мало: у нас не только есть соль, но ещё и прямо самородная сернокислая сода, так что полдела при превращении соли в соду сама природа сделала. Но

этой сернокислой соды нельзя, или, по крайней мере, недавно ещё нельзя было добывать, под страхом обвинения в корчесмстве. Мне известен случай, что один из наших значительнейших стеклянных заводчиков хотел употребить этот дар природы на выделку стекла, и разрешение получил, но со всем тем вывоз сернокислой соды подвергался таким осмотрам и пересмотрам, что бросил он это дело. И так, вот простая и прямая причина, почему мыловарение не совершенствуется, а тариф тут ни при чём. И посмотрите на всякую другую промышленность, застой которой приписывается тарифу: я уверен, всегда найдётся подобная причина. По крайней мере, относительно мыла, стекла, некоторых химических продуктов, скотоводства, приготовления мясных и рыбных произведений, вместо: „возвратите промышленности 66 млн“, которых у неё никто не отнимал, можно с гораздо большим правом воскликнуть: „сложите с промышленности 9 или 10 млн соляного акциза, и посмотрите, что будет“.

Так как мы не нашли общего правила, которое показало бы, какой именно непокровительствуемой промышленности вредит такая-то и такая промышленность покровительствуемая, то должны были пробоваться отдельными примерами и никак не могли напасть на такой, где бы вред этот оказался на деле, если попристальнее на него посмотреть. Чтобы нас не упрекнули, однако, в намеренном умолчании, взглянем и на тот вред, который будто бы покровительственный тариф оказывает сельской промышленности. Промышленность эта так обширна и занимает такое место в России, что действительно можно бы было жалеть, что капиталы обращаются на что либо иное, если бы не доставало их для этой промышленности. Да и в этом случае, прежде пришлось бы пожалеть о тех капиталах, которые затрачиваются на вновь введённую у нас экономическим прогрессом биржевую игру, чем о тех, которые пошли на полезную и необходимую для самой земледельческой промышленности — промышленность мануфактурную. Но действительно ли ощущали наши сельские промыслы в течение большей части покровительственного периода недостаток в капиталах? Всякому известно, что было совершенно наоборот, что ни одна отрасль промышленности не пользовалась такими дешёвыми капиталами, как именно сельское хозяйство. Опекунский Совет снабжал наших сельских хозяев, т. е. помещиков, капиталами в количестве многих сотен миллионов рублей, за такие проценты и под такими условиями, под которыми те, которые употребили свои капиталы на водворение у нас покровительствуемых отраслей промышленности, никогда бы не снабдили ими сельского хозяйства. Если со всем тем, эти сотни миллионов не развили нашего сельского хозяйства, то надо благодарить судьбу за то, что другие миллионы пошли на другое дело. Были, значит, иные причины, а не недостаток капиталов, которые тому препятствовали, например, хоть крепостное право. Но теперь крепостного права нет, и источник Опекунского Совета иссяк. Не полезнее ли было бы обратить капиталы в эту сторону, чем поддерживать искусственные, как их величают, промышленности? Не повторяя того, что было сказано выше по случаю садоводства, фабрикации

бумажных тканей и мыловарения, что, как само собою разумеется, вполне применяется и к хлебопашеству, посмотрим, нет ли и в этой обширной отрасли промышленности таких условий, которые, совершенно независимо от тарифного покровительства мануфактурной промышленности, не допускают к ней прилива капиталов? Действительно, в том, чтобы значительные капиталы могли иметь полезное приложение к сельской промышленности, есть весьма основательные причины сомневаться. Неужели, в самом деле, те сотни миллионов, которые, через посредство опекунских советов и приказов общественного призрения, притекали к нашей сельской промышленности, так мало принесли ей пользы и имели главным своим результатом, что лица, получившие ссуды на столь выгодных условиях, вошли лишь в бесполезные долги, — главнейше от неразвитости, невежества, расточительности и всяких других дурных качеств бывших русских помещиков, а не от каких-либо свойств присущих нашей сельской промышленности? Чтобы поверить, так ли это, попробуем сделать приблизительный расчёт.

Число десятин пахотной земли в России нельзя принять менее, чем в 90 млн, что составляет всего $\frac{2}{11}$ пространства Европейской России, или по $2\frac{1}{2}$ десятины кругом на мужскую душу, а ведь в том числе считаются и помещичьи запашки, бывающие нередко в несколько тысяч десятин, также запашки колонистов и вообще крестьян многоземельных губерний, где запахивают и по десятку десятин на душу; припомним также, что и у работников наших фабрик и у прочего промышленного люда запашка по большей части идёт своим чередом. Рассчитывая по трёхпольному севообороту, 30 млн оставалось бы из них под паром. Но в значительной части России, именно в самой многоземельной и плодородной, господствует залежная система, при которой всё, что вспахивается, всё и засевается, следовательно, на собственно засеваемое пространство придётся значительно более 60 млн десятин. Из них, в трёхпольной системе половина засевается хлебными растениями в тесном смысле этого слова, т. е. такими, из которых действительно печётся хлеб; но и в яровом поле большое пространство идёт под яровую пшеницу, немного под яровую рожь и под ячмень. Там, где ведётся залежное хозяйство, да и вообще в Южной России, хлебные растения, в тесном смысле этого слова, далеко преобладают над прочими посевами; поэтому, если вместо 30 млн отделим 40 млн на этого рода хлеба, то наверно не перейдём за границу действительности. Теперь предположим самый умеренный средний урожай — всего сам $4\frac{1}{2}$: меньше кажется уже нельзя для пшеницы и ржи. При засеве в 10 мер на десятину будем иметь 225 млн четвертей среднего урожая ржи и пшеницы. Из них, 50 млн пойдёт на посев. Сколько пойдёт затем на прокормление народа? Солдат получает у нас 1 пуд 30 футов пайка в месяц, т. е. 21 пуд муки или $2\frac{1}{3}$ четверти ржи в год, и этот паёк оказывается достаточным. Но невозможно же считать количества съедаемого солдатом, т. е. молодым крепким мужчиной, ведущим трудовую жизнь, за среднее для всего населения, в число которого входят женщины, дети, старики и высшие сословия, как известно,

потребляющие гораздо меньше хлеба. Если, поэтому, примем две четверти за среднее количество, то примем, вероятно, слишком много. На 70 млн населения это составит 140 млн, за исключением которых остаётся ещё 35 млн четвертей. Положим, что в России выкуряется 80 млн вёдер вина, при выкурке по 8 вёдер с четверти: это потребует всего 10 млн. Остаётся ещё 25 млн. В год самого изобильного отпуска хлеба за границу он никогда не достигает этой цифры. Или 70 млн мало принять для народонаселения России? Так накинем ещё пять. Всё же у нас остаётся 15 млн четвертей — количество, которое много превосходит наши заграничные отпуски. Кто вспомнит, что в наших плодородных губерниях хлеб остаётся в скирдах по несколько лет немолоченным, потому что дешевизна не позволяет его продавать мало-мальски расчётливому хозяину, не приневоливаемому к тому нуждою; кому известно, что в 1865 году четверть овса стоила, например, в южных уездах Курской губернии, 40 коп., а в 1844 г. доходила до 60 коп. ассигнациями; кто захочет обратить внимание на то, что никакие требования за границу никогда не истощали наших запасов, а если и случались в этом отношении затруднения, то единственно вследствие затруднительности доставки, так что, например, в 1866 году Одессо-балтская железная дорога была не в состоянии перевезти имевшихся запасов, — тот согласится, что выведенный нами приблизительный расчёт близко выражает настояще положение дела. Но допустим, что расчёт преувеличен, что нашего среднего урожая только что хватает на внутренние нужды и на отпуск нескольких миллионов четвертей, и будем себе сулить золотые горы от прилива капиталов к сельской промышленности. Пусть же эти капиталы дадут самый умеренный результат, пусть увеличат они наши урожаи на ползера: что станем мы делать с лишними 25 млн четвертей — неужели по 35 или 40 млн четвертей за границу отпускать станем? Такое увеличение наших урожаев, конечно, было бы весьма полезно, но кому — покупающим наш хлеб иностранцам, которые удовлетворяли бы всем своим потребностям в нём за гораздо меньшую сумму, да, кроме того, содействовало бы разве размножению и утучнению мышей. Если смотреть на нашу сельскую промышленность, по крайней мере, на главную её отрасль, хлебопашество, с точки зрения искусства для искусства, то, конечно, оно окажется на весьма низкой степени: и пахать, и сеять, и удобрять, и жать можно гораздо лучше, нежели мы пашем, сеем, удобряем и жнём; но если оценивать промышленность, по скольку она удовлетворяет потребностям в её продуктах, то должны будем сказать, что наше хлебопашество стоит именно на той степени, на которой, при настоящих условиях сбыта, стоять может. Тогда станет понятно, почему она так сказать отразила от себя те сотни миллионов, которые к ней протекали; и ту же отражательную способность сохранит она, пока не усилится для неё сбыт. Ей нужны не столько капиталы, сколько сбыт, а в нашей власти для этого есть только один путь — усиление нашей промышленности мануфактурной, причисляя к ней, конечно, и такие роды сельской промышленности, как производство свекловичного сахара и т. п., так что те капиталы, которые приливают к этим отраслям

промышленности, принесут и нашему земледелию гораздо более пользы, чем ежели бы они прямо шли на его техническое усовершенствование. Почему, например, находится в таком цветущем состоянии хлебопашество в Соединенных Штатах? Потому, что треть его населения, весь юг, производит хлопчатую бумагу и табак, а не хлеб; потому, что там есть такие торговые и промышленные центры, как Нью-Йорк, Филадельфия, Бостон, Новый-Орлеан, Балтимор, Сан-Луи, Чикаго, Цинциннати, и т. д.

Таким образом, все частные примеры, нами разобранные, оказались не в пользу того мнения, чтобы покровительство одним промышленностям необходимо вредило другим, непокровителствуемым. Но как бы ни были верны эти из частных примеров выведенные заключения, мы не можем ими удовлетвориться и должны стараться отыскать самые источники, откуда проистекает ошибочность этого мнения. Мы намекали уже на них при обсуждении отдельных примеров, теперь уделим несколько места, чтобы рассмотреть их самих в себе. Это —

а) Смешение понятий о переводе капиталов из рук в руки, с их отнятием у промышленности. Например: несколько лиц имеют 10 млн капитала, который они желали бы поместить и который мог бы послужить для заведения или усиления какой-нибудь отрасли промышленности; но вдруг то или другое обстоятельство делает выгодным покупку домов в столице; они и обращают на это свои капиталы. Разве можно сказать, что чрез это означенные капиталы отняты или даже отвлечены от промышленности? Если купили дома, так кто-нибудь же их продал; значит капиталы только перешли из рук в руки, и по-прежнему к услугам промышленности, если только может она представить им достаточные выгоды. Не тоже ли самое, если покупаются биржевые бумаги? Покупаются, так, значит, и продаются. Конечно, возможно, что тот, кто продал бумаги только и делает, что ждёт, чтобы опять накупить новых и т. д.; тогда, конечно, эта спекуляция отнимает капиталы у промышленности; но это ещё не есть необходимое последствие всякой покупки бумаг. — Ежели бы, теперь, 66 млн, которые из рук потребителей передаются, по г. Андрееву, покровительственным тарифом в руки производителей, оставались у своих первоначальных хозяев, то, конечно, могли бы, составляя их экономию, как-нибудь соединиться и обратиться на новые промышленные предприятия; но разве так же точно не могут они соединиться и из рук производителей, к которым поступили в виде барышей или лишних заработков? Тут есть перевод капитала из рук в руки, пожалуй, тягостный и несправедливый, но нет необходимого отвлечения его от промышленности.

б) Но это ещё мелочь; главная же ошибка заключается в следующем. Положение, что капиталы, притягиваемые к искусственно покровительствуемой промышленности, непременно отливают от других промышленностей, защитимо только при предположении, что капиталов в стране как раз в обрез; что, одушевляемые, так сказать, некими гонящим их духом, они врачаются и движутся с такою скоростью, какая только для них возможна; что нет капиталов бездейственных. Вполне гипотеза эта, может

быть, нигде не осуществлена; но во всяком случае степень, в которой она осуществлена, весьма различна в различных странах. В Англии, конечно, если не все, то почти все капиталы находятся в таком движении, так как в ней не только абсолютное количество, но и относительная напряжённость экономических сил больше, чем в других странах. В России же совершенно наоборот: здесь не только количество экономического движения, но и относительная напряжённость силы, его производящей, значительно меньше, чем в других образованных странах; в ней, поэтому, имеется относительно больше, чем где-либо, капиталов, или совершенно не обращающихся, или обращающихся медленнее, чем бы могли. Давно ли ещё зарывали монету в землю, и кто поручится, что не зарывают её и теперь? Но не будем говорить об этих крайностях. В то самое время, как правительенная система создавала мануфактурную промышленность и, следовательно, привлекала к ней капиталы, не приливали ли сотни миллионов к промышленности земледельческой, хотя и без результата, и за всем тем не собралось ли в Опекунском Совете столько капиталов, что правительство черпало из них десятками миллионов в течение многих лет; и, наконец, не сочли ли нужным вытеснить их чрезмерным понижением процентов, так как их накопилось более, чем могли или умели употребить? Не очевидно ли, что тарифное покровительство нимало не отвлекало капиталов от других промышленностей, а только возбуждало к жизни капиталы спавшие, и что, если можно о чём жалеть, так о том лишь, что оно не привлекло их гораздо больше, этим для других промышленностей не только безобидным, но весьма полезным образом, ибо всякая промышленность, по самой сущности дела, всегда содействует другой, если только не вредит ей отвлечением капиталов? Не привлекло же оно их больше, во-первых, потому, что тарифное покровительство отличается, к своей невыгоде, от покровительства естественного тем, что нередко из покровительства обращается в угрозу, хотя это невыгодное свойство и не лежит вовсе в самой его сущности. Во-вторых — потому, что это покровительство, в значительной степени, обращалось в чисто номинальное, ибо промышленность недостаточно ограждалась от контрабанды, неизвестно почему-то считающейся неустранимою. В-третьих — потому, что, вытеснив скопившиеся капиталы в бывших правительенных банках, заставили их метаться из угла в угол, вместо того, чтобы постепенно и правильно открывать им пути, по которым бы они знали, куда и на что им идти, как это сделал в своё время покровительственный тариф. От этого развились биржевая спекуляция, которая действительно отвлекает капиталы от промышленностей, но отвлекает их как от непокровительствуемых, так и от покровительствуемых. Приписывать же вину этим последним, значит сваливать с большой головы на здоровую. Нельзя, конечно, отвергать, чтобы не могли быть такие обстоятельства и условия экономической жизни народа, при которых покровительство одним сторонам этой жизни не наносило бы тем самым ущерба другим; но частный случай не может быть возведён в общее

безусловное правило, и, как мы видели, экономическая жизнь России не подходила и не подходит под этот частный случай.

4. *Покровительство налагает на народ, а, следовательно, и на, государство такие тягости, которые далеко превосходят предполагаемые от него выгоды.* Прежде всего надо заметить, что если покровительство и налагает на кого тягости, то конечно на потребителей; чтобы перейти от этого к наложению тягостей на народ, на государство вообще, необходимо отождествить интересы потребителей с общим интересом народа и государства. Это и делается посредством следующего софизма, который я извлекаю из книги Бастия „Экономические софизмы“, переведенной на русский язык для назидания нашей публики, книги, которой, как мы заметили уже, должно отдать ту справедливость, что она совершенно верно озаглавлена. В первой статье, под названием *обилие и недостаток*, которая служит основанием всех дальнейших рассуждений и выводов, знаменитый экономист говорит (стр. 6 и 7):

„Возьмём какого-нибудь производителя; в чём непосредственная его выгода? В двух следующих условиях: 1) чтобы возможно меньшее число людей занимались тем же трудом; 2) чтобы возможно большее число людей требовали произведения этого труда. Политическая экономия излагает это короче: „чтобы предложение было самое ограниченное, а требование как можно обширнее“, или ещё другими словами: „чтобы соперничество было ограничено, а сбыт неограничен“. — В чём состоит непосредственная выгода потребителя? В том, „чтобы предложение потребного ему произведения было обширно, а требование ограничено“. До сих пор всё совершенно верно. Послушаем, что дальше будет. „Так как эти две выгоды противоречат одна другой, то одна из них должна совпадать с общественным или общим интересом, а другая должна быть ему противоположна“. Никоим образом. Это совершенно противно всякой здравой логике. Если два крайние и противоположные интереса тянут каждый в свою сторону, то общее благо никак не может лежать в одной из крайностей, а непременно в чём-нибудь среднем, примиряющем обе крайности. Бастия позволил себе маленький фокус-покус и воспользовался не совсем добросовестно известным логическим законом *исключения третьего*, но этот закон имеет применение лишь там, где одно из двух противоречащих положений заключает в себе прямое отрицание другого, и больше ничего, никакого другого утверждения, т. е. когда противоречие полное, например, „эта фигура есть треугольник“ и „нет, эта фигура не треугольник“. Конечно, истина тут должна заключаться или в утверждении или в отрицании. Но ежели скажем: „эта фигура треугольник“; и „эта фигура четырехугольник“, то дело совершенно переменяется. Говоря „эта фигура четырехугольник“, мы, конечно, отрицаем, что она треугольник, но при этом прибавляем кое-что лишнего, и весьма может статься, что фигура будет — пятиугольник. Так точно и у Бастии. Если бы непосредственная выгода потребителя состояла только в том, чтобы предложение *не было* самое ограниченное и чтобы требование *не было* самое неограниченно-обширное, тогда бы так; но ведь для потребителя этого мало,

его интерес требует, как справедливо утверждает Бастия, чтобы предложение было неограниченно обширное, а требование было возможно ограниченное. При этом, дело сейчас же переменяет вид. Представим в доказательство несколько положений, совершенно аналогических положениям Бастииа, но из других сфер жизни, и посмотрим, к чему они нас приведут. Интерес чиновников получать как можно более жалованья; интерес казны, в тесном смысле этого слова, давать чиновникам как можно менее жалованья. Неужели же интерес государства находится в одной из этих крайностей? Нет, интерес государства требует, чтобы чиновники получали справедливое, соответственное их трудам вознаграждение, ибо иначе способных людей мало служить пойдёт. Или — в некоем государстве интерес аристократии или, точнее, олигархии — захватить всю власть в свои руки; а интерес демократии или, точнее, демагогии — сосредоточить её в своих руках. Чего же требует интерес государства, или общее благо? Не того ли, чтобы все классы народа пользовались должною мерою власти и влияния? Или — Франция при Людовике XIV и Наполеоне I полагала свой интерес в том, чтобы господствовать над всей Европой; в том же полагали свой интерес Германия и Испания при Карле V; а интерес Европы в чём же заключался? Не в том ли, чтоб и Франция и Германия с Испанией, каждая пользовались приличествующею им долею влияния? И так далее, сколько угодно.

Слабеньки же, слабеньки в логике оказываются сами учителя-то и авторитеты, и плохо, преплохо рассуждают! Последуем, однако, за учителем далее, к чему-то он нас приведёт:

„Надо согласиться, — продолжает Бастия, — что желания у всех нас, как у производителей, противообщественны, антисоциальны. Пусть, например, мы виноделы: ведь мы не огорчились бы, если бы помёрзли все на свете виноградники“. Совершенно справедливо — калькирую с этого и своё доказательство. „Надо согласиться, — говорю я, — что желания у всех нас, как у потребителей, противообщественны, антисоциальны. Пусть, например, мы любители вина: ведь мы не огорчились бы, если бы конфисковали всё вино во всех погребах кроме нашего, и раздали его нам даром“. Воля ваша, йота в йоту так же справедливо. Не в подобных ли стремлениях и обвиняют коммунистов? А если они питают такие безумные и хищнические замыслы, то ведь не иначе как исключительно в качестве потребителей.

Возьмём ещё пример из Бастииа: „Положим, что мы производим хлопчатобумажные ткани. Конечно, мы желаем продавать их как можно выгоднее для себя. Мы охотно бы согласились на запрещение всех соперничествующих с нами мануфактур, и если не осмеливаемся выразить такого желания публично, то, однако ж, достигаем этого осуществления в известной мере косвенными средствами, например, запрещая иностранные ткани, чтобы уменьшить предлагаемое количество“ и проч. Отвечаю: „Положим, что мы — потребители хлеба. Конечно, мы желаем покупать хлеб, как можно дешевле. Мы охотно согласились бы на запрещение употреблять хлеб не только для приготовления из него разных продуктов, например, вина, но даже и на удовлетворение нужд других потребителей,

например, вывоза за границу, и если не осмеливаемся выразить такого желания, то потому лишь, что непоследовательны“. Скажут, пожалуй, что с потребительской стороны никогда ничего подобного не выражалось. В таком случае позволю себе рассказать следующий анекдот, за достоверность которого ручаюсь. Когда основалась компания для приготовления животных продуктов, связанная с именем г. Кокорева, то в народе разнёсся слух, будто г. Кокорева схватили и заключили в Петропавловскую крепость, за то, что он скупил слишком много скота и отправил его за границу, и весьма радовались постигшему его заключению, находя, что оно весьма им заслужено произведённою им будто бы дороговизною мяса. Не выразилось ли в этой легенде тайное желание потребителей узкой, исключительно потребительской точки зрения?

Поэтому, если справедливо мнение Бастия „о законодательном собрании, составленном из работников, в котором каждый член мог бы обратить в закон своё *тайное желание производителя*“, мнение, заключающееся в том, что „*уложение, вотовированное таким собранием было бы систематизировано монополией, теорией недостатка, приложеною к практике*“, то совершенно неосновательно его мнение о палате, „*в которой каждый член соображался бы исключительно с своею непосредственною выгодою потребителя*“ — будто бы такая палата „*пришла бы к системе свободы, к уничтожению всех ограничительных мер, к ниспровержению всех искусственных препятствий; словом, к осуществлению теории изобилия*“. Совершенно напротив, и эта палата, руководимая интересом, не менее односторонним и эгоистическим, как и первая, пришла бы к узаконениям, ограничивающим потребление, как, например, к запрещению вывоза (точно так же, как первая к запрещению ввоза), и стремлением к уменьшению выгод производителей искусственным удешевлением продуктов привела бы точно также к осуществлению теории недостатка. Из этого видно, как ошибочно отождествление исключительного интереса потребителя с интересом общественным: этому последнему исключительный интерес потребителя противоречит столько же, как и исключительный интерес производителя, и здравая экономическая политика, имея в виду и тот, и другой, не может, однако, следовать ни тому, ни другому, а должна рассматривать, что в каждом данном случае соответствует общему благу.

Если, таким образом, тягость, наложенная на потребителей, не составляет ещё непременно и необходимо ущерба всему обществу, то тягость эта, будучи только частная, может иметь и свою полезную сторону. Но, прежде чем пойдём далее, любопытно и важно бы было оценить величину той тягости, которую несёт на своих плечах Россия. К счастию, мы имеем тут некоторую точку опоры. Вместо возгласов о неудобоносимости налагаемого покровительственной системой бремени, г. Андреев в упомянутой уже не раз статье, приложил старание к определению его веса и размеров и вычисляет это бремя в 66 млн руб. Верно ли это вычисление? Сомневаться в точности числовых величин, на основании которых он сделал свои вычисления, я, по крайней мере, не имею ни каких оснований и никакими

другими заменить их не могу; если он ошибся в чём, пусть укажут другие. Но верна ли его метода вычисления? Была бы она, не скажу, верна, но, по крайней мере, вероятна, если бы не существовало внутренней конкуренции, о которой так часто говорилось в „Торговом Сборнике“, но которой решительно не хотят знать приверженцы свободной торговли; была бы она вероятна, если бы каждый род покровительствуемой промышленности сосредоточивался в заведениях, принадлежащих одному хозяину; но и в этом случае, хозяин мог бы ещё рассчитывать, что, в видах усиления сбыта, ему выгоднее продавать дешевле, чем по цене на иностранных рынках + перевоз и + тариф.

Вычисление г. Андреева, на котором мы и остановимся, так как другого не знаем, произведено следующим образом. Он берёт количество каждого выделываемого продукта, помножает его на тарифную пошлину и сумму этих произведений принимает за премию платимую потребителями покровительствуемым отраслям промышленности. Этую методу подкрепляет он следующую дилеммою: если бы стали утверждать, что цифра эта слишком велика, то пришлось бы доказывать: 1) что покровительство, нами принятое, в действительности не существует, что, следовательно, нынешние наши пошлины *слишком велики*, и что, следовательно, *их можно уменьшить*; 2) или же — что количество ежегодных изделий, нуждающихся в покровительстве *менее, чем его приняли*, и что, следовательно, значение покровительства не так важно в общей судьбе нашей промышленности, как мы его приняли. В том и другом случае протекционистам пришлось бы отказаться от одного из важнейших для них положений, от необходимости поддержания существующих высоких пошлин, или от необыкновенной важности протекционизма для России. — Nego. Не знаю ничего об том, менее или более количества ежегодных изделий, чем оно принято г. Андреевым; но утверждаю, что хотя бы продукты покровительствуемых отраслей промышленности были значительно дешевле того, чем тариф позволяет им быть (что, вследствие внутренней конкуренции, необходимо и должно быть), тем не менее уменьшить тариф до такой нормы, которая, по-видимому, требуется ценою, по которой наши фабриканты в состоянии продавать и действительно продают свои произведения, значило бы подвергнуть существование этих отраслей промышленности большой опасности.

Я думаю, не станут спорить, если я скажу, что иностранного соперничества должно опасаться не столько от могущих завестись за границею фабрик, основанных именно для сбыта их произведений в Россию, сколько от фабрик, уже существующих и уже сбывающих свои продукты и без России. Ставлю себя в положение одного из таких фабрикантов и начинаю рассуждать: „Произвожу я до 100000 пудов товара в год, продаю его по 12 руб., и десятая доля моего валового дохода составляет мой чистый доход, то есть 12000 руб. Я человек экономный и скопил себе капитал, который желал бы употребить на расширение своего производства, но, ни внутри моего отечества, ни в тех странах, куда мне не мешает проникать

тариф, усиления сбыта не предвидится. Хорошо, если бы мне можно было открыть для себя сбыт в Россию, хотя бы ещё на 50000 пудов в год. Там фабрикант, выделяющий это количество, как мне известно, продаёт пуд по 14 руб. и также считает одну десятую валового дохода своим чистым доходом, т. е. получает 70000 руб. Тариф, ограждающий эту промышленность, составляет 4 руб. на пуд, так что внутренняя конкуренция, против того, чем тариф позволял бы, ей быть, понизила цену 2 руб. на пуд. Если я, несмотря на тариф, стану ввозить мои произведения и продавать по 12 руб. 70 коп., считая 30 коп. на провоз, которых нечего принимать в счёт, и потому собственно по 12 руб. 40 коп. я выручу 620000 руб. Шестьсот тысяч выручки дали бы мне уже 60000 чистого дохода, да 20000 барыша от лишних 40 коп. с пуда; это, вместе с 120000 руб. которые я теперь получаю, составит как раз 200000 дохода; но я должен бы заплатить и 200000 пошлины, что поглотило бы не только все мои выгоды по новой операции, но и все прежние доходы. Это значит невозможно. Положение русского фабриканта, которого бы я принудил, соперничеством со мной, продавать товар по 12 руб. 70 коп. всё же было бы несравненно лучше, нежели моё, так как он всё ещё сохранил бы 5000 руб. чистого дохода. Но наши экономические писатели, дай Бог им здоровья, поддели много русских экономистов и не экономистов на удочку. Много, слышал я, развелось на Руси фритредеров: что если бы удалось убедить их похлопотать о понижении тарифа до той только нормы, которая как раз обеспечивала бы фабрикантам цену в 14 руб., по которой они на самом деле продают свой товар? Ведь это не могло бы уже считаться крайним фритредерским увлечением, а только сбавкою доли тарифа, совершенно излишней для действительного покровительства. Если бы мне это удалось, то вот в каком виде представились бы мои дела: из 200000 моей чистой выручки, мне пришлось бы заплатить всего 100000 руб. пошлины, а 100000 руб. у меня бы оставалось. Конечно, и тут я лишился бы 20000 сравнительно с тем, что теперь получаю; но года через два, много через три, я и мои товарищи, которые непременно последуют моему примеру, мы совершенно бы убили русскую фабрикацию, которая не может же довольствоваться барышом, составляющим вместо $\frac{1}{10}$, только $\frac{1}{140}$ долю валовой выручки, и тогда могли бы мы возвысить цену на наши продукты, на сколько нам желательно. При этом я не беру ещё в расчёт, что расширение производства — не то, что заведение вновь, и что, следовательно, я получу в чистый барыш долю валового дохода большую, чем рассчитывал, не $\frac{1}{10}$, а может быть $\frac{1}{9}$ или $\frac{1}{8}$. Далее — хотя мы и увеличим цену, когда уничтожим соперников, но можем всё же с выгодою спустить цену и ниже 14 руб., если это будет входить в наши расчёты, и тем усилить сбыт. Но, оставив это пока в стороне, как не подходящее под строгую арифметику, всё же ясно, что понижение русского тарифа до той степени, какая, по-видимому, требуется ценами, по которым русские фабриканты сбывают свои товары, представило бы мне и моим товарищам отличный случай убить эту отрасль русской промышленности и завладеть русским рынком. Боюсь только — догадаются и поймут, что если тариф есть, так сказать, ограждающая стена, то

оградительная способность стены измеряется ведь её вышиною над уровнем почвы наружной, а не внутренней. А если не догадаются?“

Из этого следует, что 66 млн не могут считаться выражением той суммы, которую потребители действительно платят производителям, а только выражением крайнего максимума, которого эта сумма могла бы достичнуть при таких-то и таких условиях, так что на деле она может быть и половины, даже трети 66-ти млн не составляет. Чтобы получить истинную величину жертвы, налагаемой на потребителей тарифом, надо было бы из средней цены продуктов покровительствуемых промышленностей на внутреннем рынке, помноженной на количество этих произведений, вычесть: 1) такое же количество товаров, помноженное на среднюю цену их на рынках иностранных, 2) ценность провоза от мест заграничного производства до центрального русского рынка, 3) и ту пошлину на эти привозные товары, которую правительство могло бы наложить с целью чисто финансовою. Только разность этих двух величин выражает собою действительную дань, платимую потребителями производителям.

V

Мы доказали, что, хотя бы отрицательная сила тарифа и выражалась численно суммою в 66 млн, отяготительное его влияние будет непременно гораздо ниже этого. Но значительность какой-либо тягости, какой-либо жертвы не может быть определена одним лишь исчислением их величины: нужно ещё знать, что приобретается ценою их. Посмотрим же, что покупаем мы ценою жертв, налагаемых на потребителей.

А. Во-первых, мы покупаем экономическую независимость и самостоятельность. Я знаю, что слова эти звучат дико и странно в ушах некоторых экономистов, которые, обращая внимание, изо всех свойств вещей, на одну лишь ценность их, утверждают, что, так как мена обоюдна, и ценность, промениваясь всегда равна ценности выменявшей, то и экономическая зависимость обоюдна, одна другую уравновешивает и нейтрализует, сохраняя таким образом за обеими сторонами их полную экономическую независимость. Но такими общими положениями не решаются дела в сём до крайности сложном мире. Между страною чисто или преимущественно земледельческою, или, лучше сказать, сельско-хозяйственную, и страною мануфактурною и торговою устанавливаются те же отношения, что между деревнею и городом; а город, как место сосредоточения и централизации капиталов и вообще промышленных сил, будет всегда преобладать над деревнею, где эти силы рассеяны, и держать её в своей зависимости. Странно по видимому, что деревня, которая доставляет предметы первой необходимости, зависит от города, могущего заплатить за них предметами гораздо менее нужными. Но дело в том, что тогда как деревня связана с городом сбытом своих произведений, город, обладая сосредоточенными капиталами, может во всякое время, когда только это покажется ему выгодным, расширить сферу, из которой он добывает свои сырье продукты. Такое положение дел ещё значительно усиливается, когда,

играющее в отношении к нам роль города, государство — подобно Англии — сосредоточивает в своих руках всемирную торговлю, т. е. производит мену, не как обыкновенно делают это государства, пополняя лишь избытком некоторых своих произведений недостаток в других, а в значительной степени приближаясь к характеру торговой конторы, для которой торговля становится сама по себе целью. Этим, между прочим, и объясняется вражда политico-экономической науки, по преимуществу английской, к торговому балансу. Такое ненормальное нарушение экономического порядка вселенной очевидно должно вести к ненормальности и в противоположном смысле. У нас, именно на основании характера наших произведений, составляющих предметы первой необходимости, долго существовало мнение о зависимости Англии от нас, и в подтверждение этого сочинено даже много легенд. Теперь едва ли кто держится такого образа мыслей. Тем не менее, не бесполезно будет посмотреть на причину этого, так сказать, оптического обмана. Если сравнить степень зависимости России от всего что не Россия, с таковою же зависимостью Англии от всего, что не Англия, то, без сомнения, Россия окажется несравненно независимее Англии; но дело в том, что Россия никоим образом не может воспрепятствовать сношениям Англии с остальным миром. Тогда как почти все торговые связи России с остальным миром находятся в руках Англии, а при известном неблагорасположении к нам Европы — можно даже сказать *все*, без *почти*. И это должно разуметь не в одном предвидении войны. Одно уже сознание, что в сбыте своих произведений мы зависим от произвола Англии, тогда как она сознаёт, что может заменить истекающие от нас источники необходимых для неё сырых произведений другими, ставит уже нас в неравноправные отношения. Есть у нас люди, которые полагают, что Россия всеми сторонами своей жизни должна быть подчинена просвещённой Европе и должна лишь служить орудием для достижения её возвышенных, а не своих грубых целей. Такие люди, по крайней мере, последовательны. Но что сказать о тех, которые, высоко ставя нашу самостоятельность политическую, не хотят даже и слышать о том, что может быть зависимость экономическая? Они забывают, что, говоря о жизни государства, политической, экономической, умственной, религиозной, как явлениях отдельных, мы делаем лишь отвлечение; что государство, как человек, живёт одною цельною жизнью; и что, если оно не вполне свободно с одной из этих сторон, то это отражается и на всём прочем. Нужны ли примеры? Тильзитский мир доставил России возможность удобно достигнуть истинно национальной цели; следуя установленной им политике, Россия приобрела Финляндию, могла бы приобрести Молдавию и Валахию, а может быть даже и Галицию и Булгарию (я здесь не касаюсь того, было ли бы это хорошо в других отношениях); но давление экономических интересов было так сильно, что мир и дружба с Англиею, а, следственно, разрыв с Наполеоном сделались всеобщим желанием; конечно, это была не единственная причина последовавшей перемены в политике, однако же, одна из важнейших. Возьмём пример ещё более бесспорный и резкий. Англия ли

не ревниво наблюдает за интересами как всего государства, так и отдельных граждан своих, часто не обращая даже внимания на справедливость; она шлёт флоты свои блокировать Пирей из-за какого-то Пачифико, или пушками прокладывать путь продаваемой ей подданными отраве в Китай, наказывая его несправедливейшую из всех когда-либо бывших войн, за то, что китайское правительство осмелилось сжечь пойманную им контрабанду. И, однако же, эта самая гордая Англия сколько сносила от Америки, потому лишь, что считала себя в экономической от неё зависимости по отношению к хлопчатой бумаге! Опыт обнаружил, правда, что зависимость эта была не так велика, как казалось, что вся беда ограничилась для Англии кратковременным страданием, которое она легко перенесла. Но что же это доказывает? Во-первых — то, что сознание своей экономической зависимости связывает государству руки и в делах политических; во-вторых — то, что, даже и при таких отношениях, которые существовали между Англиею и Соединенными Штатами, бывшими почти единственными и самыми дешёвыми поставщиками хлопчатой бумаги, всё же зависимость мануфактурного государства от земледельного оказалась не сильною. Своими капиталами вызвала Англия хлопчатую бумагу из почвы Индии, Китая, Бразилии Египта, Малой Азии. Так же ли вызвали мы из земли золото и вообще все нужные нам мануфактурные товары нашим хлебом? Итак, мы покупаем тарифом нашу экономическую, а, следовательно, отчасти и нашу политическую самостоятельность. К сожалению, я говорю „покупаем“, а не „купили“, потому что тарифу не дали выказать всего своего могущества — теми колебаниями, которым его подвергали, и сознанием, вследствие того, самой промышленности, что она пользуется тарифом не как правом, ведущим к общему благу государства, а как милостынею, подаваемою ей против убеждения, так, по какому-то снисхождению к предрассудку и к прежде приобретённым правам; главное же — тем, что и такое покровительство-угроза значительною частью лишь номинально, потому что уничтожается контрабандою, считаемою, по мнимому экономическому закону, как бы необходимым злом, или даже косвенным добром.

Б. Но не только экономическую независимость и отчасти политическую самостоятельность, а ещё обеспеченность нашего промышленного развития, как сельскохозяйственного, так и мануфактурного, должен приобрести нам тариф. Характер сырых произведений России таков, что не только мало надежды на значительное усиление сбыта их за границу, но даже и теперешний размер его совершенно не обеспечен. Уже много случайностей постигло этот сбыт и ещё много других, по всей вероятности, ожидает его в будущем. В этом отношении, характер различных стран весьма различен, и, хотя различие это должно бы определять собою в значительной степени и самый характер промышленности страны, на него решительно не хотят обращать внимания. Есть особенности, которые обеспечивают за некоторыми произведениями как бы естественную монополию, а, следовательно, в значительной мере обеспечивают и экономическую будущность тех стран, которые их производят, даже в случае, если бы страны

эти почти исключительно посвятили свою промышленную деятельность добыванию, возделыванию или обработке одних этих произведений. Так, например, одно обстоятельство, по видимому весьма мало могущее иметь влияния на такую обеспеченность сбыта, имеет, однако ж, огромное влияние. Именно, весьма важно то, доставляется ли продукт однолетними, или же древесными растениями. Представим себе, что хлопчатая бумага Южных Американских Штатов, вместо того, чтобы быть однолетнею травою, росла бы на больших деревьях. Очевидно, что монополия их была бы несравненно сильнее и не могла бы быть вырвана из их рук другими тёплыми странами в течение каких-нибудь четырёх лет американского междуусобия, при посредстве каких бы то ни было капиталов.

Ещё сильнейшую монополию доставляют некоторым странам продукты, подобные чаю и винам. Взаимодействие почвы и климата производит в них столетиями известные разновидности; с другой стороны, эти разновидности или породы приходят мало-помалу в такое же гармоническое соотношение со вкусами потребителей; наконец, долговременная естественная монополия порождает в тех, кто ухаживает за такими растениями и приготовляет из них продукты, практическую сноровку и ловкость, которые тем труднее перенимаются, что не заключают в себе какого-либо особого секрета, который можно было бы в точности передать. Если бы какая-нибудь страна с подходящим климатом и пересадила к себе разные сорты китайских чайных кустарников или французских лоз, то десятки и, вероятно, сотни лет прошли бы прежде, чем между новыми условиями и растениями с одной стороны, и получаемыми продуктами и вкусами потребителей — с другой, уставились новые гармонические отношения, которые могли бы поколебать приобретённую веками монополию Китая или Франции. Никаких таких привилегированных продуктов Россия не имеет, за исключением разве вышеупомянутых, весьма по ценности своей незначительных, пушных товаров и некоторых рыбных продуктов.

Все сырье продукты, которые производит Россия, могут быть столь же хорошо, или даже лучше, производимы другими странами, находящимися сравнительно с Россиею в выгоднейших условиях, почвенных, климатических и топографических. Жалуются, что относительно главнейшего нашего продукта, хлеба, мы получили в последнее время опасных соперников в Дунайских княжествах и в Египте, и, по обыкновению, приписывают вину в этом частью тарифу, отвлекающему капиталы от сельской промышленности, частью нашей беспечности и разного рода непохвальным качествам русского народного характера. Между тем, ни за первым, ни за последними, вины ровно нет никакой, а вся вина лежит в природе вещей. В самом деле, Дунайские княжества, по плодородию почвы, по меньшей мере, равняются самим нашим плодородным губерниям, по климату лучше их, а по путям сообщения имеют на своей стороне течение почти круглый год незамерзающего Дуная, от которого все пункты страны весьма мало удалены. Железные дороги могут, правда, отчасти заменить судоходную реку, но кто же помешает и Дунайским княжествам провести

таковые же? Наконец, исходный пункт для внешнего сбыта, устье Дуная, хотя немногим, но, всё же ближе, чем наши Черноморские и Азовские порты, к местам потребления. Если, несмотря на это, земледельческая промышленность до недавнего времени не развивалась в Дунайских княжествах, то это происходило от господствовавших там общественных и политических неустройств после турецкого гнёта; и если Россия виновата, что дала возникнуть этим соперницам, то разве в том отношении, что не держалась торговой политики Англии, и, как всегда, действовала бескорыстно и доброжелательно.

Сказанное о Дунайских княжествах ещё в сильнейшей мере относится к Египту. Здесь, кроме климатических преимуществ, позволяющих собирать две жатвы, существует такая удобительная машина как Нил. Это едва ли не единственная страна, к которой не относится Либихова теория хищения. Здесь самое хищническое хозяйство будет через это и самым рациональным. Тут нет надобности ни в плодопеременной системе, ни в глубокой распашке, ни в разведении кормовых трав; только собирай себе как можно больше зерна, Нил все вознаградит. Сверх того, неширокая Нильская долина прорезывается великолепною рекою, которая стоит всякой железной дороги, а место сбыта, устье Нила, находится с лишком тысячи на две вёрст ближе к центрам сбыта, чем наши Одесса и Ростов. Какое же тут возможно соперничество? И опять, если этот соперник возник, то виноваты в том Мегмет-Али и его преемники, которые, после безобразного владычества Мамелюков, доставили стране некоторое благоустройство и порядок. Противодействовать этому я невижу других средств, кроме Тамерлановского опустошительного набега.

Но разве только Египет и Дунайские Княжества? В древности провинция Африка считалась одною из житниц Римской Империи. Немного более порядка и благоустройства — и в Тунисе возникнет нам новый соперник. Сицилия тоже была римскою житницею. Правда, Либих утверждает, что хищническое хозяйство обесплодило её почву; но ведь каменные породы, постепенно разрушаясь, хотя и медленно, но доставляют почве необходимые ей соли. Весьма вероятно, что почти двухтысячелетний пар дал достаточно отдохнуть полям Сицилии, чтобы, по окончании господства бандитов и монахов, которое уже кажется при последнем изыхании, и этот остров снова сделался значительным центром хлебного производства. Во времена Карфагена и Мавров, Испания также считалась одною из плодороднейших стран. Население её не велико, и порядок тоже когда-нибудь да возвратится туда. Наконец Булгария, Фракия, Македония, да и самая Малая-Азия не век же останутся под турецким игом, а это все страны плодородные, благоприятствуемые климатом, не густонаселенные и расположенные для внешнего сбыта сельских произведений гораздо выгоднее, чем Россия. На что же этой последней рассчитывать? На неограниченный сбыт хлеба? Признаюсь, слова А. П. Шипова, что иностранцы по два раза обедать не будут, сохранили для меня свою силу и после всего того, что было против них сказано. Утверждающим, что обед

работников в Западной Европе весьма скучен, не худо бы припомнить следующую черту из наших народных нравов. На наших постоянных дворах кушанье подают, как известно, не порциями, а, взяв определенную плату с человека, подают всего столько, сколько кому угодно, как говорится „до отвалу“. Но когда заворачивают на постоянный двор степные мужики, то во многих местах это правило не соблюдается для хлеба, за который платится отдельно, так как хозяевам известно, что эти мужики, не привыкшие к разнообразной пище, будут довольствоваться самым дешёвым столом, но уже на хлебец понапрут. Да и нужно ли знать этот обычай, чтобы понимать, что, чем лучше кто ест, тем менее употребляет он хлеба? Вот если бы наши фритредеры имели основание думать, что обед западно-европейских работников должен становиться всё скучнее и скучнее, тогда имели бы они право надеяться на усиление сбыта нашего хлеба. Но, видя в товарах одни их ценности, они никаких других свойств их как бы не хотят видеть и не признают за рынками весьма различной способности насыщения для разных товаров. Если бы фритредеры обратили на это внимание, то не могли бы не увидеть, что, именно по отношению к хлебу, рынки имеют так сказать наименее растяжимости. Усиление сбыта его зависит почти единственно от возрастания народонаселения, которое возрастает же и у нас; увеличение же благосостояния, равно как и удешевление хлеба, почти не увеличивают его потребления. Сравним с хлебом, например, вино. С удешевлением его и с увеличением благосостояния, кто не пил вовсе вина, начнёт его пить; кто пил по праздникам, начнёт употреблять ежедневно; кто довольствовался рюмкою, захочет стакана; кто употреблял судацкое или кизлярский чихирь, перейдёт к медоку; для кого был хорош медок, потребует лафиту и т. д., чуть не до бесконечности. Может ли потребление хлеба представить такое прогрессивное движение? Но этого мало: не только рынок скоро насыщается хлебом, но, по причине самой крайней необходимости в этом продукте, рынок почти всегда им насыщен; и только исключительные годы неурожаев могут в сколько-нибудь значительной мере временно возвышать на него требование. Если, при таком постоянстве в требовании на хлеб, усиленным производством его, во что бы то ни стало, мы бы значительно усилили предложение этого продукта, разве крайний упадок цен не перевесил бы то, что могли бы мы выиграть в количестве, перебив сбыт у наших естественных соперников — если допустить даже, что это возможно?

Хлеб, хотя и главный продукт сельского хозяйства, однако не единственный. Но велики ли наши надежды на значительное усиление сбыта и большей части других сельских произведений? Любят, например, жаловаться на уменьшение сбыта наших кож, приписывая это дурному, не тщательному способу их снимания. Не могу оспаривать, чтобы и это обстоятельство не имело своей доли влияния; но главную причину все-таки надо искать в соперничестве стран несравненно более благоприятствуемых природою и в этом отношении. Обширная Аргентинская Республика обладает громадными пастбищами, на которых пасутся бесчисленные стада рогатого скота совершенно на воле, не требуя ухода и не принося убытка при

падежах. За ними охотятся, как за дикими зверями. В близком к этому положении находится и Южная Африка с Австралиею. Не естественно ли, что соперничество этих стран должно было повредить нашему сбыту, даже без всякой с нашей стороны вины? Тоже можно сказать и о шерсти. Почему же, однако, могут возразить, уменьшение отпуска в этих отношениях совпадает со введением и развитием у нас покровительствуемых отраслей промышленности? Потому — отвечаем, — что около этого же времени приходится освобождение Южно-Американских колоний от власти Испании, которая сама, по своему расстройству, не могла быть для них выгодным посредником в торговле, а непосредственный торг с прочими странами стесняла.

Важный продукт сельского хозяйства составляют жирные вещества. И действительно, если бы нашему салу и нашему маслу предстояла завидная участь освещать такие города, как Лондон, Париж и проч., то сбыт этих веществ достиг бы громадных размеров и при покровительственной системе. Но из этой позиции выбил нас, конечно уж совершенно без нашей вины, каменный уголь; а что каменный уголь сделал для улиц, площадей и магазинов, то делает теперь петролеум для внутренности частных домов. Да и для других потребностей не встречают ли наши жирные вещества соперников в пальмовом масле и других продуктах жарких стран, с которыми, при их производительности, вообще странам с природою не столь расточительною трудно соперничать?

И так, по климатическим условиям России, за тягости, налагаемые на потребителей покровительственным тарифом, покупается обеспеченность и верное расширение сбыта наших сельскохозяйственных производений. Жаловаться на эти тягости — странно и смешно равно столько же, как жаловаться на всякую *страховую премию, обеспечивающую нас в будущем*. Ежели посредством государственных долгов мы учитываем будущее в пользу настоящего, то разве не столь же необходимо и справедливо учитывать и настоящее в пользу будущего, как это именно и делается посредством тарифа?

В. Кроме особенностей климатических, ещё и топографические свойства нашего государства требуют и требуют, во что бы то ни стало, чтобы Россия была вместе и земледельческим, и мануфактурным государством. Это свойство заключается в громадности её континентального протяжения, при котором естественные пути сообщения, т. е. реки, направлены не вдоль, а поперёк этого протяжения, в течение половины года замерзают, и главнейшие из них впадают или в Ледовитый Океан, как реки сибирские, или в замкнутые моря, как Волга и Сыр-Дарья. По обширности своего континентального протяжения всего ближе к России подходят Северо-Американские Штаты, Китай и Бразилия. Но и тут, какая разница! Все означенные страны омываются теплыми, удобными для плавания океанами, которые посредством громадных рек приводятся в сообщение с самыми внутренними частями их территорий. То ли в России? Если Россия должна оставаться государством земледельческим, то какая будущность может

ожидать прекрасную и плодородную юго-западную Сибирь? Куда сбывать ей свои сельскохозяйственные произведения? Никакие железные дороги этому пособить не могут. Среднее удаление юго-западной Сибири от самых ближайших портов можно положить в четыре тысячи вёрст. Если принять, что тариф Московско-Петербургской железной дороги на целую треть слишком высок, и что можно бы за 600 вёрст платить только по 10 коп. с пуда, то и тогда провоз четверти пшеницы из юго-западной Сибири обошёлся бы около 7-ми руб.: есть ли какая-нибудь возможность развиться земледелию в такой стране в размерах, превышающих непосредственные потребности местного населения?

Г. Не только особенности русской государственной области требуют самостоятельности и разнообразия её промышленной организации, а, следовательно, и ограждения тех отраслей её, которые ещё слишком слабы, чтобы возникнуть и процветать при соперничестве иностранцев: это является необходимым ещё и по особенностям в строе и в развитии русского общества. Ещё не совсем окончила Россия борьбу с направившимися на неё азиатскими народами и едва приступила к борьбе с препятствиями, представлямыми физическими условиями её территории, как очутилась она лицом к лицу со сплотившимся уже в сильные государственные тела — Западом. Охрана первого народного блага — политической самобытности и независимости — поставила её в необходимость устремить все свои силы на укрепление своей государственности. Ежели при этой работе зашли слишком далеко, коснувшись нравов, быта, характера жизни народной, как думают некоторые, как думаем и мы, тем не менее, государственная сторона реформы была крайне необходима. Она имела своим последствием, что государственное развитие России, как могущественного политического тела, далеко опередило её экономическое развитие. Поэтому и государственный бюджет составляет у нас более значительную долю расходов граждан, чем в государствах, с большим промышленным развитием. А к государственному бюджету надо ещё причислить и бюджет земский, и плату за судебные издержки (наём адвокатов и т. д.), ибо все эти расходы имеют то общее свойство, что сократить их не во власти плательщика. Значительная часть этих бюджетов расходуется на плату служащим, военным и гражданским всевозможных разрядов, на разные заказы, подряды, строения и проч., из коих строители, подрядчики и т. д. получают свои выгоды, законные или незаконные, для наших соображений это теперь всё равно, так как для нас важно только одно то свойство этих доходов, по которому выплачивающее их общество не имеет возможности их сократить. Лица, получающие плату за оказываемые ими услуги из этих разных бюджетов, принадлежат к классу более или менее образованному, с развитыми потребностями, который не может удовлетворяться сырыми продуктами, доставляемыми страною земледельческою. К числу их надо ещё прибавить и всех тех, которые косвенным образом содержатся от бюджета: литераторов, художников, медиков и т. д., ибо большая часть их доходов доставляется лицами получающими, в том или другом виде, средства для своего существования из

доходов казны. Очевидно, что существует большая разница, с одной стороны, между обществом, где бюджет составляет столь значительную долю доходов, получаемых частными лицами, и таким, где большинство образованного класса извлекает средства своего существования из своей промышленной деятельности; а с другой стороны — и между такими двумя обществами, у которых, хотя роль бюджета и одинаково велика, но одно из коих само в состоянии удовлетворять потребностям и жизненным удобствам, развивающим известною формою цивилизации, а другое — нет. В первом случае, между ввозом и вывозом необходимо должно произойти равновесие, ибо ввоз для каждого из производителей оплачивается непосредственно или посредственно его вывозом, и при недостатке вывоза необходимо сокращаться и ввоз, ибо если нельзя оплатить его вывозом, то ничего не остается, как войти в долг, и долг этот будет ощущителен именно тому, кто его заключает. Но, если производители должны отдавать значительную часть своих доходов за разные оказываемые им государством нематериальные услуги, а те лица, которым эти доходы передаются, имеют интерес приобретать на них заграничные произведения, то, что же может их от этого удержать? Правда, и тут приходится входить за них в долг, но долг этот уплачивается не тем, кто его делает и продолжает получать свой определённый доход. И, как бы производители ни желали привести в порядок свои расчёты по отношению вывоза к ввозу, та сумма, которую они уплачивают разным лицам через посредство государственного и земского бюджета, находится вне их влияния; и ежели эти лица находят выгодным истрачивать свои доходы на продукты заграничные, то первые должны принимать на себя долг, сделанный последними на их счёт. Правда, что со временем этот долг остается не без влияния и на получающего определённую плату из бюджета, так как и она упадет ниже своей номинальной суммы; но в таком случае те, которые за услуги свои могут уговариваться с казною, увеличат свои требования; да и тем, которые получают плату определённую, в виде жалованья, принуждено бывает правительство взыскивать его, чтобы иметь надежных слуг. Деньги, говорят экономисты, суть как бы векселя, которые получает каждый за оказанную им обществу услугу, какого бы рода она ни была, и притом векселя такого сорта, по которым каждый может требовать себе уплаты от общества, чем он пожелает в размере, определяемом ценою предметов. Следовательно, всякий, получивший в свои руки, так или иначе, долю из бюджета, получил векселя на русских производителей, ибо кроме них у бюджета нет других источников, и притом такие векселя, которые они, во что бы то ни стало, должны выдавать на себя каждый год. По ним требуют, конечно, уплаты. Производители и готовы расквитаться: вот хлеб, вот лён, вот пенька, вот сало, дрова, смола, поташ, щетина и пр. пр., всё, что русские производители имеют в своём распоряжении. Но владетель векселей справедливо замечает, что всё это вещи очень хорошие и отчасти ему нужные, и что поэтому в известном количестве он их и принимает себе в уплату, но что, кроме того, он желает иметь виноградного вина, кофе, чаю, сахару, шёлковых, шерстяных и

бумажных материй и т. д., а так как этих вещей у русских производителей нет, то он передаёт имеющееся у него на них векселя Бордосским виноделам, Лионским, Эльбёфским, Манчестерским фабрикантам, и Английским купцам, которые всё, даже чай, хотя и плоховатый, ему доставят, а русские производители пускай рассчитываются с ними, как знают. Они конечно и рассчитываются хлебом, салом, пенькой и т. д., но что же делать, ежели мера потребности в этих полезных предметах, выказываемая иностранцами, меньше, чем ценность переданных им векселей, известных под именем денег? Ничего не остаётся, как принять на себя долг, долг ежегодно повторяющийся, и уничтожить который вовсе не во власти производителей. Как ни вертись, необходимо поступить в разряд неоплатных должников, т. е. пойти в кабалу, как бы в крепостное состояние, по которому часть имущества кабального составляет собственность кредитора; и часть эта с течением времени должна необходимо всё возрастать.

Что же в этом случае делать? Так или иначе, а надо прийти на помощь к должнику не по своей вине. Это и делается посредством тарифа, который вооружает производителя правом уплачивать свои обязательства пред владельцем его векселей, приобретающим их через посредство бюджета, собственными произведениями, хотя бы они и были несколько хуже по качеству и несколько дороже по цене. Тариф, так сказать, ограничивает право (или возможность) передачи векселей в чужие иностранные руки, что не только совершенно необходимо, но даже и совершенно справедливо, ибо должника-производителя нельзя укорить тем, что он мотоват, нерасчётлив и выдал на себя более векселей, чем в состоянии уплатить, ибо выдача векселей для него обязательна. Итак, тариф, некоторою долею своего влияния, имеет как бы характер контр-бюджета, заставляет часть платежей по бюджету притекать обратно к производителям, и притом не одних только непосредственно покровительствуемых тарифом продуктов, но всех вообще, потому что долг, выражющийся в упадке цены денежных знаков, падает на всех и даже на самих потребителей, про которых собственно нельзя даже сказать, чтобы тариф налагал на них какую-либо тяжесть. Положение их таково, что им остаётся только выбор между двумя тягостями: или платить несколько дороже за необходимые для них продукты, или, платя за них дешевле, подвергнуться следствиям долга, накапляющегося на всём государстве и имеющего своим необходимым последствием упадок денежной единицы, так как к ней, можно сказать, прирастает известная отрицательная величина, через то, что единица эта в известной мере лишается косвенного размена, как это было изъяснено выше. Но эта последняя тягость несравненно тяжелее первой, ибо необходимо должна всё более и более возрастать, тогда как первая должна всё более и более уменьшаться, ибо и одна внутренняя конкуренция, без внешней, необходимо удешевляет и улучшает продукты. Очевидно, что в таком государстве, которое само производит значительную долю предметов, служащих к удовлетворению потребностей лиц, получающих своё содержание от бюджета, даже и большой бюджет не имеет свойства вводить страну в долг

иностранным, потому что поглощаемые бюджетом суммы сами собою обратно притекают к производителям.

VI

Итак, всё, что ни говорится против покровительственной системы, как вообще, так и в применении к России, не имеет твёрдого основания. Любопытно узнать, в чём же именно заключается общий характер тех ошибок, которые приводят защитников свободной торговли к ложным выводам и доставляют такое распространение их теориям. Я думаю, что таких общих ошибок — три, к которым присоединяется ещё четвёртая, специально русская.

а. Экономисты весьма нередко принимают частные случаи за общие правила. Мы видели этому уже несколько примеров, а именно: 1) толкуя слишком узко своё же собственное любимое положение, что ценность вещей зависит от отношения между предложением и требованием, они приходят к тому выводу, что ценность бумажных денег зависит единственно от выпущенного их количества, тогда как из того же начала выводится, что ценность эта должна зависеть и от торгового баланса; а разные признаки показывают, что именно этот случай и имеет у нас место; 2) экономисты-фритредеры, то есть почти все, утверждают, что покровительствуемые промышленности необходимо отвлекают капиталы от остальных. Это справедливо, но для того лишь частного случая, когда капиталов в стране как раз в обрез, или точнее, когда все капиталы страны находятся в движении, и притом в движении столь быстрым, какое только при данных условиях может существовать. Но, как только мы примем существование капиталов мёртвых, спящих или дремлющих, то результат покровительства может состоять в пробуждении или оживлении именно этих капиталов, а не в отвлечении уже действующих от других промышленностей — опять случай, который именно и оказался у нас вследствие таможенной реформы графа Канкрина.

б. Экономисты утверждают, что, по мере удешевления продуктов, потребление их увеличивается в пропорции сильнейшей, чем та, в которой произошло удешевление, так что произведение, получаемое от помножения количества потребляемого продукта на его цену, будет возрастать с уменьшением цены. Теоретическую необходимость такого закона трудно усмотреть и, действительно, основанием для него служат лишь частные случаи. Мы видели выше, что, как только введём в наши соображения понятие о различной насыщаемости рынков разными товарами, то этот так называемый закон должен получить большие ограничения и, так сказать, изнемочь под тяжестью исключений; но это ещё не единственная причина, не позволяющая приписывать этому частному правилу значения общего закона. На количество потребления, кроме удешевления товара, и кроме его различной способности насыщать рынок, имеет влияние и самое общественное устройство страны. Если степени благосостояния и развитости потребностей её граждан расположены рядом незаметно переходящих один в другой оттенков, то, конечно, удешевление продукта быстро расширяет

сферу его сбыта. Здесь, за пользующимся известною дозою жизненных удобств, стоят толпою алчущие и жаждущие удешевления тех продуктов, которые сделали бы их участниками в пользовании теми же удобствами. Но там, где различные классы общества, и по степени своего благосостояния, и по характеру своих требований от жизни, разграничены широкими промежутками, удешевление продукта вовсе не может иметь тех же последствий; ибо, при таких резких различиях, даже довольно значительное понижение цены может быть ещё недостаточным для того, чтобы вывести потребление продукта за пределы того отдела общества, в котором он доселе находил себе сбыт, — потому ли, что следующее за ним отделение всё ещё слишком бедно, чтобы его приобретать, или же потому, что потребность эта в нём вовсе не развита. Например, можно почти с уверенностью сказать, что понижение нашей таксы за письма не увеличило бы значительно числа отправляемых писем, ибо те, которые теперь писем не пишут — вовсе не потому их не пишут, чтобы было для них слишком убыточно отправлять на почту, а потому, что или писать не умеют, или не чувствуют потребности частого сообщения письмами. Обе страны можно себе представить в виде водоёмов, из коих один с весьма пологими, низменными, а другой с крутymi, уступообразно возвышающимися берегами. Если мы примем, что понижение цены соответствует в нашем примере возвышению уровня воды в водоёмах, то в первом случае малейшее возвышение зальёт обширное пространство берега и обратит его в озеро, тогда как во втором поверхность водоёма нимало не увеличится, и нужно большого прилива воды (удешевления), чтобы она залила следующую террасу.

в. Принимая во внимание лишь тот случай мены, при котором только одна ценность товаров имеет важность, именно случай, имеющий место лишь при исключительно купеческом взгляде на торговлю, как меркантилисты, так и экономисты-фритредеры, приняли такой частный случай за общее правило; и одни всю сущность, всю пользу торговли видели в накоплении драгоценных металлов, а другие не менее односторонне отвергают торговый баланс вообще.

г. По отношению к торговому балансу в тесном смысле этого слова, то есть касательно ввоза и вывоза драгоценных металлов, можно уличить экономистов в принятии частного случая за общее правило ещё и другим путём. В самом деле, в чём заключается существеннейшее различие между драгоценными металлами и прочими товарами, с экономической точки зрения? В том, что каждый из этих прочих товаров удовлетворяет какой-либо действительной, специальной потребности, драгоценные же металлы, если не обращать внимания на их способность служить к украшению, не соответствуют никакой определённой, действительной потребности, а, напротив того, служат к удовлетворению всякой потребности, но не в действительности, а в возможности. Ежели, поэтому, годовой результат торговли какой-либо страны состоит во ввозе в неё драгоценных металлов, то это ведь значит, что страна своими трудами удовлетворила непосредственно или посредственно (меною) всем своим насущным потребностям, и, сверх

того, удовлетворила ещё и некоторой части своих будущих возможных потребностей; так что, если бы на следующий год труд её был, на сумму равную ввезённым драгоценным металлам, менее производителен, чем в прошедшем, то она всё же могла бы прожить точно так же, как жила прошлый год. Но такое удовлетворение будущих возможных потребностей может иметь место или потому, что все действительные специальные потребности уже удовлетворены, или потому, что в удовлетворении некоторых из этих потребностей было отказано. Первый случай едва ли когда может осуществиться на практике: значит, мы имеем дело только со вторым случаем. Но тут опять может быть, что, отказывая себе в удовлетворении некоторых потребностей, мы поступаем благоразумно, бережливо; но может также случиться, что вред от такого подавления своих настоящих потребностей далеко не окупается пользою, приносимою скоплением средств для удовлетворения возможных будущих потребностей: тогда мы поступаем не бережливо, а скрупульно. Очевидно, что экономисты, ратующие против заботы перетянуты на свою сторону торговый баланс, принимают в расчёт лишь именно этот второй случай, в каком торговый баланс действительно мог бы приносить только вред экономическому развитию страны, следовательно опять принимают частный случай за общее правило. Такого рода ошибки весьма естественны в науке, занимающейся явлениями весьма сложными, а между тем, без достаточных средств анализа (отсутствие количественного элемента), считающей себя в силах решать вопросы эти путём чистой теории, легко упускающей из виду многие обстоятельства. То же самое представляется нам, например, история другой науки — климатологии. Наиболее поражающею причиной климатических различий являются; различная высота солнца над горизонтом, или широта места, и различная высота поверхности над уровнем океана. Естественно, что сначала им одним и приписывали всё разнообразие климатов. Когда до учёных XVII и начала XVIII века дошло известие о необыкновенных, с точки зрения западного европейца, сибирских холодах, для объяснения их сочли нужным прибегнуть к принятию огромной выпуклости или вздутости земного шара на равнинах Сибири. Но когда узнали, что огромное влияние на климат имеет распределение воды и суши, вращение земного шара, холодные и теплые морские течения и т. д., то увидели, что в этой гипотезе нет никакой надобности, и вообще пришли к заключению, что вопрос о распределении климатов до того усложняется, что пока вовсе не подлежит теоретическому решению, и что в руках климатологии остаётся лишь одно средство — здравая эмпирия. Кажется, что и в экономических вопросах результаты, добытые такими эмпириками, как, например, Кольбер и Фридрих-Великий, граф Канкрин и государственные люди Соединенных Штатов, заслуживают несравненно большего уважения, чем умозрения науки, очевидно обладающей слишком слабыми средствами для решения её многосложных задач путём чистой и общей теории.

д. Экономисты не довольно строго различают объекты, к которым относятся их умозрения, что, однако, должно во многом изменять делающие

из них выводы. Юристы отличают, например, право частное, право публичное и право международное, по тому, что в первом случае объектом права являются отношения частных лиц между собою, во втором — отношение частных лиц к государству, в третьем же — государств между собою; и, смотря по этому различию, положения их совершенно видоизменяются. Например, в частном праве никоим образом не допускается самоуправство и составляет уже само по себе преступление, как бы впрочем ни был справедлив повод, заставивший прибегнуть к нему; война же становится действием совершенно правомерным, когда дело идёт о тяжбах международных. Не тоже ли должно оказаться, если вместо юридической принять экономическую точку зрения? Купец занимается известною торговлею. Выгода его состоит очевидно в том, чтобы покупать как можно дешевле и продавать как можно дороже, и странно говорить, чтобы ему, с его личной точки зрения, выгоднее было поступать иначе, так как, продавая дешевле, он увеличил бы свой сбыт, — странно потому, что безграничное или только значительное увеличение сбыта для отдельного купца даже вовсе не желательно, и так увеличило бы его труд, что он превзошёл бы его силы. Для отдельного купца, поэтому, желательнее продавать дорого, чем продавать много. Но, как только мы примем в расчёт не отдельного купца, а целое торговое сословие, то заключение изменится: покупая слишком дешёво, сословие это иссушает источники производства; продавая слишком дорого, оно вообще приведёт к сокращению своих операций, не вознаграждаемому обыкновенно вздорожанием продуктов. Если имеются в виду отдельные части государства, то никому не приходит в голову защищать внутренние таможенные линии, потому что их невозможно защищать иначе, как выгодою отдельных областей; но в государстве никакой самостоятельности за отдельными областями не признаётся, и всякая выгода их, если только она приносит ущерб целому, в расчёт не принимается. Но, как только речь идёт о целом государстве, никакой высшей единицы уже не имеется, и оно должно составлять альфа и омегу всех наших теоретических рассуждений и практических забот: если наше государство от какой-либо меры выигрывает, мы можем оставаться совершенно равнодушны к тому, выигрывает или проигрывает человечество вообще. Поэтому, и политики-экономы должны бы смотреть на свой предмет единственno с государственной, а не с космополитической точки зрения, и, во всяком случае, если и могут принимать в круг своих умозрений всё человечество, то только тем из своих выводов должны придавать практическую цену, которые сообразны с выгодами государства, хотя бы даже они были выгодами исключительными. С точки зрения космополитической можно, конечно, доказывать, что, если какое государство ограждает себя тарифами, то тем уменьшает общую производительность, ибо, если имеет нужду в тарифе, то не по чём другому, как по тому, что должно, при известных условиях своего развития, затрачивать большие труды и капиталы на какую-либо отрасль промышленности, чем другие государства. Но какое нам дело до общей производительности? Для нас важно то, чтобы наша производительность

была велика, и чтобы мы всегда имели достаточно средств для удовлетворения своим потребностям, непосредственно или посредственно (меною). В этих последних двух словах и заключается собственно вся теория свободной торговли, утешающая тем, что ведь даром никто ничего не даёт, и что если мы будем в большем количестве производить те из предметов, которые для нас сподручнее, то и будем за них получать потребные нам иностранные продукты с большою выгодою, чем ежели бы сами их производили. Мне кажется, что в том-то именно и беда, что даром никто ничего не даёт. Если бы, например, международная мена производилась по Сен-симонистской формуле — à chacun selon ses besoins, тогда, пожалуй, и на свободную торговлю можно бы согласиться: пусть брали бы у нас англичане столько хлеба, сколько им надо, и давали за то сахару, бумажных материй, стальных изделий и т. д., не столько, сколько взятый ими хлеб стоит, а сколько нам этих произведений нужно: тогда пожалуй. Но, так как утверждение, что нам не может быть нужно этих фабрикатов и продуктов более, чем сколько мы производим хлеба, сала, пеньки и прочего; равно как и другое утверждение, что иностранцы всегда у нас потребуют этих продуктов никак не менее, чем сколько нам может понадобиться их произведений и услуг — суть ничто иное как совершенно произвольные гипотезы, прямо опровергаемые фактом нашего низкого вексельного курса, то мы и не можем удовольствоваться утешением, что даром никто ничего не даёт. Нам надо бы иметь ещё другое, что не потребуют от нас в уплату чего-либо такого, что нам отдавать невыгодно, или за неимением этого другого не поставят нас в разряд неоплатных должников. Мы не думаем отвергать, хотя и не берёмся доказывать, что, если бы иностранцы могли свободно ввозить в Россию всё, что им вздумается, то их производительность увеличилась бы в большей мере, чем наша бы оскудела; даже не отвергаем и того, что мы могли бы в этом случае производить более тех продуктов, добывание которых фритредеры считают нашим естественным промышленным поприщем, и что, следовательно, средняя производительность человечества через это бы усилилась. Мы опасаемся лишь того, что такое удешевление продуктов было бы не в нашу пользу. Мы знаем, что по мере усиления предложения падает цена, а между тем нисколько не уверены, что требование иностранцев возрастёт в той же мере, в какой усилится наше предложение, чтобы таким образом поддержать цену наших продуктов; и, наоборот, не уверены, чтобы, с усилением предложения иностранного, наше требование не возросло ещё в сильнейшей степени. Во всём этом мы не уверены, или даже уверены в противном, потому что принимаем в расчёт различие в товарах по их способностям насыщать рынок, и знаем, что рынок гораздо растяжимее для предметов роскоши, чем для предметов необходимости; принимаем в расчёт также и особенности нашего общественного устройства. Поэтому, среднее для всего человечества усиление производительности не имеет в наших глазах ровно никакой цены. Но, скажут, если требование на наши продукты будет меньше, чем наши требования на продукты иностранные, то *volens-nolens* придётся нам отказаться от части сих последних, и что таким образом

восстановится вожделенный экономический порядок. Да, восстановился бы, ответим мы, если бы не предстояло возможности делать долгов, и если бы разного рода удобств и наслаждений нельзя было оплачивать — не результатами своего труда, а всё возрастающею долею своего имущества, как оплачивала Португалия, оплачивает Турция, да и мы уже начали оплачивать. Такая расплата возможна для частных лиц, называемых мотами и расточителями, и не знаем, почему бы ей быть невозможной для целых народов и государств. Может быть за такое, будто бы низкое, мнение о своём народе, сравниваемом с мотами и расточителями, нас обвинят в недостатке уважения к своему народу. Такое обвинение было бы весьма неосновательно. Если народ и государство могут, точно так же как и отдельные лица, расточать своё имущество, то упрёк в расточительности, справедливый относительно частных лиц, совершенно несправедлив, однако, относительно народа, когда этот последний поставлен в обстоятельства благоприятные расточительности. Все впечатления и действия отдельного лица приходят к единству в его сознании, где они обсуживаются, и где могут и должны направляться к его благу. Действия же отдельных лиц, составляющих народ, не сосредоточиваются в такое единство в сознании народном; это может происходить лишь в правительстве, как народном органе, которое следовательно и принимает меры против всего, что грозит народу бедою, а, следовательно, и меры против расточительности народной, которая совсем иное дело, чем расточительность частная, и может иметь место даже в том случае, когда отдельные лица будут оставаться вполне экономны в качестве отдельных лиц, как доказано было это выше, при разборе влияния производимого нашим бюджетом. Принимающее за объект своих экономических умозрений всё человечество могут возразить, что теперь сознаётся уже солидарность, существующая между отдельными государствами, и что, следовательно, здравая экономическая политика может то лишь считать выгодным для одного государства, что выгодно и для другого, что эксплуатация одного другим невозможна, и что истощение одной страны, при системе свободной торговли, отражается и на других. Но мы и не говорим, чтобы дело шло об эксплуатации преднамеренной. Наука учит также, что между благосостоянием сельского хозяйства и составом почвы, им обрабатываемой, существует полнейшая солидарность. Но пусть хозяином будет хоть самый верный ученик Либиха: если во владении его находятся обширные плодородные степи, помешает ли это ему вести залежное хозяйство, вытягивая из одного участка все жатвы, которые только он может дешевейшим образом доставить, а потом, забросив его, и предоставив медленному разложению пород вознаграждать понесённые почвою убытки, обращаться к другим участкам, в надежде, что к тому времени, как ему снова придётся прибегнуть к первому, этот успеет уже восстановить своё плодородие? Не такое ли точно отношение существует между государствами мануфактурными и торговыми, — особенно такими, которые, споспешествуемые, как Англия, разными благоприятными обстоятельствами, успели захватить в свои руки всемирную торговлю, — и

странами земледельческими? Что за беда для Англии, которая может эксплуатировать весь шар земной, если какая-нибудь из этих стран истощится наконец под слишком усиленным извлечением её природных богатств: разве нет в запасе Северной Америки, обеих Индий, Китая, стран Южной Америки, Австралии и проч.? К тому времени, когда придётся снова обратиться к истощённой стране, она успеет отлежаться, а между тем наибольшая производительность, какая только возможна в данное время, будет достигнута. Конечно, ежели бы сберечь силы этих стран, и постепенно развивать их средства, хотя бы с временным уменьшением среднего итога общей производительности, результат вышел бы более выгодный, даже и с точки зрения, не политической, а космополитической экономии. Но неужели же думать за целые столетия вперёд, и кто же будет управлять этим благоразумным ходом? Неужели вполне разнудзанная конкуренция, полное laissez faire, laissez aller, т. е. промышленный эгоизм?

Политическая экономия смотрит на государства, так сказать, как на существа исключительно экономические, забывая все прочие их отношения. Конечно, она вправе так поступать в видах упрощения задач: рассматривает же механика, например, рычаги, как не гибкие, не имеющие веса линии; но ведь это право предоставляется ей только с тем, чтобы, как только она задумает от этих теоретических рычагов перейти к действительным, отнюдь бы не забывала ввести в свои выкладки и прочие свойство настоящих рычагов, оставленные ею пока без внимания. Что сказали бы мы о докторе, который изо всей физиологии не хотел бы ничего знать, кроме системы питания, и, на том основании, что мясо всего удобоваримее и питательнее, прописывал бы мясную диету даже в случае воспаления? Ежели бы с отвлеченно-экономической точки зрения теория свободной торговли не подлежала никаким возражениям — наше мнение не таково — всё же не следовало бы забывать, что торговля эта производится не где-либо в безвоздушном пространстве, а между государствами, которые, кроме экономических, имеют и многие другие интересы. Если бы свобода торговли имела лишь ту невыгоду, что лишала бы государство свободы в его политических движениях, оставляла бы его без обеспечения на случай войны, то одного этого было бы уже достаточно, чтобы не допускать этой теории до практического осуществления, несмотря на всю её отвлечённую справедливость.

Наши русские приверженцы свободной торговли, или, по крайней мере, большинство их, погрешают ещё особым образом. Как в экономических, так и во всех вопросах, мы по справедливости привыкли видеть в европейцах своих учителей, а ученик, как известно, всегда склонен клясться словами учителя. Фраза „современное человечество, современная наука дошла до того-то и того-то“ имеет для нас магическую силу, хотя не худо бы иметь в виду, что под современным человечеством разумеются собственно немцы, французы и англичане, и что „современный“ есть весьма нелестный эпитет для науки. Главное достоинство несомненных, положительных истин в том и заключается, что они принадлежат не „современной науке“, а, напротив того,

науке всех времён. Что немцы, французы и англичане сделали много для науки, сделали больше, чем какие-либо народы с самого начала истории, — это не подлежит сомнению; но их научное могущество не даёт им ещё патента на полное беспристрастие, на полную объективность в деле знания. Если они предлагают нам какое-либо открытие или учение в науках математических, физических, филологических, мы не имеем никакого резона быть предубеждёнными против истины этих учений на том основании, что они суть результат, добытый мыслителями из этих национальностей; напротив, зная, сколько великого сделано ими в науках, это является скорее предубеждением в пользу этих учений. Но, ежели нам возвещают историю Наполеона, написанную французом, историю Вильгельма Оранского написанную англичанином, хотя бы он был Маколей, историю войны 1813 года, написанную немцем, не вправе ли мы ожидать в этих сочинениях пристрастного взгляда, и не должны ли вооружиться заранее критикою, приступая к их чтению? Почему, вообще, так мало склонны все доверять современной истории? Не потому ли, что требуемые ею беспристрастие и объективность взгляда считаются выше сил человеческих? Но почему же то, что справедливо по отношению к вопросам историческим, несправедливо по отношению к вопросам экономическим? Разве современный интерес тут ёщёне гораздо более замешан, чем в истории, которая всегда уже имеет дело с прошедшим? Вопросы же в роде вопросов о свободной торговле задеваю за живое настоящее и ближайшее будущее страны. Или народное тщеславие способно ослеплять самые здравые умы, а национальные интересы этого сделать не могут, не могут заставить видеть в истине частной, односторонней — истину всеобщую? Если где, то здесь именно благоразумно сомнение, выражаемое в пословицу вошедшем стихом:

Timeo Danaos et dona ferentes.

Ведь учение о свободной торговле есть учение английское, а не в английских ли видах — достигать беспрестанно расширения сбыта своих произведений, во что бы то ни стало, *per fas et nefas*, хотя бы произведение это был опium, и обеспечивать его сбыт пришлось посредством пушек, направленных на мирный и беззащитный народ? Конечно, этот аргумент, возбуждающий недоверие к чистоте источника, из коего проистекает учение, не может применяться ко всем его последователям. Иные приняли догмат фритредерства, подвергнув его предварительно достодолжной критике, или, по крайней мере, мнят о себе, что так поступили. Но пусть большинство адептов вникнет в то побуждение, которое заставляет их держаться этого учения; если они захотят быть добросовестными с самими собою, то увидят, что главную роль играла тут не истинность его сама по себе, а то, что в их глазах оно запечатлено печатью прогресса и современности, как произведение тех народов, от которых они привыкли ожидать решения всех интересующих человечество задач. На этот раз, по крайней мере, не худо бы было, сохраняя достодолжное уважение к стоящим во главе человечества и его прогресса, вспомнить, что никто не судья в собственном деле.

Этот аргумент можно, по-видимому, обратить и на приверженцев того учения, которое мы здесь защищаем. Да мы и не ищем абсолютной экономической истины, а просто экономической пользы России. Если бы и противники наши говорили, что свободная торговля требуется во имя выгод и польз Англии, например, а не всех вообще стран и народов, ныне и присно и во веки веков, — то мы бы и не имели ничего возразить против них, так как не утверждали ничего иного кроме того, что и свободная торговля, и протекционизм, не суть общие нормы международной мены, а только частные случаи, из которых в одних обстоятельствах один, а в других — другой, могут и должны иметь применение.

VII

Изложив истинные причины наших экономических и финансовых бедствий, остаётся спросить: как же избавиться нам от этих бедствий? Что в чисто финансовом отношении бедствия эти выражаются одним словом „дефицит“, об этом никто не спорит. Но всё доселе сказанное и доказанное ведёт к несомненному заключению, что и общие наши экономические бедствия, выражющиеся в падении ценности денежной единицы, — также точно, во всей полноте своей, определяются тем же самым словом „дефицит“. Дефицит по балансу международной мены, беспрестанно возрастающий долг, не государственный только, но и народный, есть отрицательная величина, которая прикладывается ко всякой нашей положительной ценности, означая, что во всём, что мы имеем и что только поступает в мену, часть принадлежит уже не нам. Одним удаётся свалить этот, ко всему присоединяющейся, минус на других, а самим остаться без убытку; но тем сильнее ложится тягость его на тех, которым это не удаётся. Следовательно, всё лечение в обеих сферах, как специально финансовой, так и общеэкономической, сводится на уничтожение дефицита; и та связь, то взаимодействие, которые существуют между обеими этими сферами, скорее облегчают, чем затрудняют лечение, ибо всё, что послужит к уменьшению одного дефицита, поведёт и к уменьшению другого; и, если хорошо выбрать лекарство, то, чем какая-либо мера окажется менее действительна в отношении одного дефицита, тем более действительна будет она в отношении другого, следовательно косвенно воздействует и на первый. И так, надо пройти весь тот ряд причин, который производит наш дефицит, и противодействовать каждой из них. Пройдём же их по порядку.

1. На дефицит имеет влияние уплата процентов по государственным долгам. Уменьшить их прямо — невозможно: по крайней мере, налог на государственную ренту считается мерою столь радикальною, что лучше об ней и не заикаться, хотя в сущности, что же может быть справедливее её? Государство обеспечивает безопасность жизни, свободы и имущества граждан, и на это обеспечение требует от них доли из их доходов. Земледелец, фабrikант, купец, все платят: почему бы одному живущему рентою, то есть именно тому, кто всего ближе и непосредственнее чувствует обеспечение, которым он пользуется, — не платить? Но оставим это. Одна

уже уверенность, что новые долги будут делаться лишь в случае крайней необходимости, должна улучшить общее положение дел, а эта уверенность может породиться лишь уменьшением государственных расходов. В этом все согласны, и говорить про это нечего; рассуждать же о том, как и какие расходы следует уменьшить, могут только те, которым известны все малейшие подробности бюджета.

2. Меновой дефицит происходит от того, что мы мало сбываем за границу. Но увеличить сбыт, по крайней мере, увеличить его скоро, мы можем только одним средством,— улучшением путей сообщения, что, в свою очередь, сводится главнейше к устройству железных дорог. Об этом также никто не спорит. Следовательно, и нам толковать нечего.

3. Меновой дефицит происходит от излишнего ввоза, на расплату за который, при других расходах, не только не хватает своих произведений, но даже золота и серебра, и приходится расплачиваться долговыми обязательствами. Уменьшить вредный излишек ввоза можно только пересмотром таможенного тарифа. Требует ли выгода нашей промышленности усиления тарифа по некоторым отраслям, и по каким именно,— это может решить только специальная комиссия. Но достоверно то, что уже одно положительное ручательство в том, что тариф не будет сбавляем в течение нескольких десятков лет, обеспечило бы промышленность, вызвало бы новые фабрики, повело бы к улучшению существующих и, усилив внутреннюю конкуренцию, удешевило бы продукты и тем уменьшило ввоз тех иностранных товаров, которые ввозятся, несмотря на обложение их пошлиною. Достоверно также, что есть производства, как, например, машинное, которые для своего развития необходимо требуют тарифного покровительства. Достоверно, что общая польза требует запрещения ввоза с западной границы некоторых продуктов, как, например, чая, провоз которого был разрешён в последнее время. Любопытно, в самом деле, сравнить, кому это изменение положений о чайном тарифе принесло выгоды, и кому невыгоды?

Невыгоды принесло оно:

а) Казне, которая, с уменьшением пошлины на кяхтинский чай, получает теперь с него менее доходу, чем прежде.

б) Всем потребителям, которые, не видя ни малейшего удешевления, находятся, однако в крайнем затруднении получать продукт хорошего качества, ибо не уверены, не примешан ли к нему кантонский чай, и по этому должны выписывать чаи лишь от известных столичных фирм, разом в большом количестве (дабы избежать почтовых расходов), что конечно не для всех возможно, а для всех затруднительно.

в) Фабрикантам, сбывающим свои произведения в Китай, в обмен за чай, и страдающим от уменьшения сбыта. Если это уменьшение сбыта и менее чувствительно, чем можно было ожидать, так причиною тому не иное что, как открытие им доступа на внутренние рынки Китая, вследствие нового трактата о том с этой державою. Но трактат имел бы несравненно

выгоднейшие результаты, если бы непосредственная торговля с Китаем не уменьшилась.

г) Занимавшимся провозом чая с китайской границы до наших центральных рынков, а также и наших товаров, идущих на обмен в Китай. Сколько значительна эта потеря для Сибири, края нуждающегося в оживлении, можно видеть из следующего приблизительного расчёта. Чаю привозилось из Китая, по крайней мере, 300000 пудов; полагая провоз только с небольшим втрое дороже, чем по железной дороге, т. е. по 50 коп. с пуда за 600 вёрст, получим на 6000 вёрст (разделяющих Нижний Новгород от китайской границы) 1500000 руб., не считая провоза товаров в обратном направлении.

Кто же получил выгоды?

а) Из русских, только те недобросовестные торговцы, которые подмешивают кантонский чай к настоящему, и, скрывая это, продают подмесь за кяхтинский. Затем —

б) Английские купцы, ведущие торговлю с Кантоном и увеличивающие свои обороты на столько, на сколько уменьшаются обороты русских купцов.

в) Английские или вообще иностранные судохозяева, которые пользуются фрахтом за то количество чаю, которое доставляют морем из Китая к портам России и, таким образом, заменяют наших извозчиков.

Но имеет ли это допущение ввоза кантонского чая прямое вредное влияние на торговый баланс, а следовательно и на упадок денежного курса? По всем вероятиям — да. Правда, нельзя доказать, чтобы произошедший от этого излишек ввоза через западную границу оплачивался весь, или, по крайней мере, отчасти, лишним выпуском денег, но достоверно, что, ежели бы ввоз чая с этой стороны и прекратился, то это не удержало бы англичан покупать потребные для них продукты и за деньги, когда нельзя будет покупать их за чай; прямо же от Китая всегда будет возможно выменивать чай на товары. Если и случались годы, когда за чай шло от нас в Китай серебро, то происходило это лишь вследствие случайных и временных причин. От восстановления непосредственной торговли с Китаем в прежнем размере есть, следовательно, основание ожидать некоторого улучшения в нашем торговом балансе.

Количество ввозимых к нам иностранных товаров далеко еще не исчерпывается теми товарами, к которым прикладывается таможенное клеймо. Всем известно, что огромная масса товаров идёт к нам контрабандою. Как велика должна быть эта масса, видно из напечатанного в „Торговом Сборнике“ известия, что на одной только трети протяжения прусской границы украдено у казны около 11 млн пошлины. Не преувеличено ли это показание? Трудно предполагать тут преувеличение, когда показание извлечено из сведений обнародованных в Пруссии. Не станут же, в самом деле, прусаки сами на себя клепать и нарочно обращать внимание нашего правительства, нуждающегося в финансовых средствах, на те огромные убытки, которые оно несёт по милости контрабандистов. Или они уже так уверены в успехах у нас фритредерства, что думают, будто опасаться нечего, и что великость зла только скорее заставит склонить перед

ним шею? По негодованию, возбуждающемуся в органах прусского торгового мира, когда речь заходит о мере столь справедливой, как заключение картельного договора, также нельзя не заключить о важности интересов, замешанных в контрабандной торговле с Россиею. Известная петербургская речь г. Молинари, как идущая из враждебного лагеря, также удостоверяет, что тут нет преувеличения. По его словам, „Записка“ г. Мичеля (которой нам не удалось прочесть) показывает, по сведениям, собранным им на месте (а ведь не по всей же русской границе разъезжал г. Мичель), и с помощью вычислений, основанных на *minimum*, что больше половины мануфактурных произведений, входящих в Россию, ввозится тайком.

И так, наверное, больше 30 млн пошлины крадётся у правительства. И это только *minimum*. Ещё поучительна речь графа Бисмарка на запрос депутата Валигорского. Прусский министр говорит, что Пруссия могла бы легко добиться отмены некоторых стеснительных для её подданных распоряжений русского правительства, если бы согласилась на заключение картельного договора относительно контрабанды, и полагает, что прусское купечество должно быть благодарно своему правительству за то, что это последнее медлит заключением подобного договора: „я думаю, что купечеству *дорого* пришлось бы поплатиться за такой договор“, добавляет министр. Любопытное сознание! Прусский министр делает также весьма поучительное разделение нашей контрабанды на *законную* и *незаконную*, причём намекает, что главные обороты производятся именно в области той из двух этих контрабанд, которой придаёт он юмористическое, возбудившее хохот палат, название „*законной*“. — Конечно, это и у нас ни для кого не было тайною; но слова знаменитого прусского государственного мужа придают частным по этому предмету сведениям официальный характер, ибо нельзя же, чтобы прусскому министру не было известно, каким путём главнейше проникает контрабанда из Пруссии в Россию. Почему бы, кажется, не принять мер к искоренению этого зла? Это имело бы благодетельное влияние в нравственном отношении и сделало бы покровительство, оказываемое нашей промышленности, вполне действительным. Расширив значительно её сбыт, уничтожение контрабанды усилило бы доходы казны многими миллионами; уменьшив же ввоз — улучшило бы наш денежный курс. В этих двух последних отношениях, меры, принятые против контрабанды, имели бы то неоценённое свойство, что чем менее были бы они удачны в прямом действии на усиление доходов казны, тем удачнее были бы они относительно торгового баланса и возвышения нашего курса, а, следовательно, тем сильнее бы, хотя и косвенно, содействовали улучшению наших финансов, и наоборот. Все знают, что существует огромная контрабанда, и когда нужно, как, например, при разрешении ввоза кантонаского чая, даже преувеличивают её значение: почему же не попытаться прекратить это зло, когда его прекращение обещает столько положительного, осязательного добра? Потому — провозглашаем известное учение — что уничтожение контрабанды есть как бы финансовая квадратура круга, решение которой почитается таким же сумасбродством,

как и решение этой знаменитой математической задачи. Едва ли не придумано даже экономического или статистического закона — благо имя им легион — по которому с усилением пошлины и контрабанда возрастает в какой-то фатальной, неизбежной как рок, прогрессии. Но зачем же нам добиваться таких точных решений как в математике, если в финансовой квадратуре можно достигнуть сотой, тысячной доли приблизительности достижимой в математической? Ведь этого было бы достаточно. А что приблизительно можно бы уничтожить контрабанду, в этом удостоверяет нас всем известный опыт, произведённый в самых обширнейших размерах. Когда господствовал винный откуп, в прибалтийских губерниях, в северо- и юго-западном крае, и в губерниях малороссийских, вино было несравненно дешевле и лучше, чем в непривилегированной части России. Откупщики ухитрились, однако, и ухитрились весьма успешно, не допускать дешёвого и хорошего вина через граничную черту, которая своим протяжением не уступала той части нашей внешней границы, через которую главнейше проникает к нам контрабанда; а какая же контрабанда может сравниться привлекательной силой своей с силою дешёвого вина? Но этого ещё мало: каждая губерния и многие уезды губерний были отделены друг от друга весьма успешно охраняемыми винно-таможенными чертами. Почему же откупщикам, у которых не было в распоряжении ни многочисленной пограничной стражи, ни казаков, ни армии, возможно было побеждать неизбежный как рок, фаталистически-экономический закон, а все силы Российского Государства должны перед ним пасовать? Вот это так уж действительно непостижимый закон! Нам известен ещё следующий факт из истории борьбы откупа — не с корчевством, которое почему-то не считается непобедимым, — а с самою уже непобедимою контрабандою. Корчевная стража Санкт-Петербургского винного откупа, равно как и руководители её, находили для себя полезным преследовать, за одно с вином, и всякую другую контрабанду, и в этом преследовании оказывал откуп столь успешное соперничество с официальную таможенную стражею, что на сумму, вырученную продажею перехватываемой контрабанды (откуп, конечно, не предавал её уничтожению, а продавал тайком в свою пользу), не только содержал он всю дорогостоющую корчевную стражу, кабачных ревизоров и т. п., но имел ещё и довольно значительный барыш. А ведь врагами откупа, кроме самих контрабандистов и экономического закона, была ещё и законная таможенная стража, у которой отнималась принадлежащая ей выгода, и вся столичная полиция, — и всё-таки откуп успевал. Уничтожение контрабандной язвы составляет в настоящую минуту действительнейшее средство к совершенно неотяготительному для народа усилию финансовых средств казны и, вместе с тем, к возвышению курса наших ассигнаций, следовательно опять таки к усилию средств казны.

5. Другим средством, разделяющим с предыдущим неоценённое свойство вознаграждать неудачу в прямо финансовом результате тем большим успехом относительно возвышения курса кредитных билетов, является налог на путешествующих и проживающих за границей, налог,

который, чтобы быть действительным, должен быть высок, например, около 500 или 600 руб. в год, но который, для облегчения ездающих на краткий срок, мог бы уменьшаться в сильнейшей пропорции, чем уменьшается время отсутствия за границею. Проживание за границею, с одной стороны, совершенно равняется иностранному ввозу товаров, ибо при этом обмениваются на русские товары, деньги, или иные средства уплаты — не только те продукты, которые проживающие за границей потребляют, но ещё и разного рода услуги, которые уже никоим образом не могли бы ввозиться; с другой же стороны, все те услуги, которые эти лица потребовали бы для себя, живя в России, услуги, немогущие быть предметом вывоза, как-то: помещение, отопление, труд ремесленников, домашней прислуги, а также многие жизненные припасы, вывозу не подлежащие — остаются вовсе без требования, и потому не производятся. Наконец, и многие мануфактурные товары, которые, оставаясь в экономии от внутреннего потребления вследствие того, что проживающее за границею их не употребляют, хотя и могли бы, по природе своей, служить предметом вывоза, в действительности не вывозятся, потому что и для внутреннего сбыта требуют покровительства; их, следовательно, также перестают производить. Принимая в расчёт развитие, которое приняло в последние годы проживательство за границей, нельзя не прийти к заключению, что всё это на несколько десятков миллионов понижает наш торговый баланс и, может быть, на не менее значительную сумму уменьшает требования на продукты русской промышленности и на русский труд. О нравственном вреде абсентеизма, грозящего многими бедствиями России в будущем, особенно при вкоренившемся гибельном и постыдном обычае воспитывать детей за границею, мы уже и не говорим.

Но, скажут, такая мера есть стеснение свободы. Без малейшего сомнения. Что же, однако, из этого следует? Не только жизнь в государстве, но даже простое сожительство двух лиц стесняет уже их свободу. Весь вопрос в том, чтобы свобода стеснялась как раз на столько, на сколько этого требует общее благо, никак не более и никак не менее; всякий же излишек, не менее чем и всякий недостаток свободы против этой нормы, должен отзываться вредными последствиями. Всё правительственное искусство состоит в том, чтобы, при данных условиях и обстоятельствах, отыскать эту норму. Налог на проживательство за границею стесняет свободу, и качественно, и количественно, не иначе, как это делает и всякий другой налог. Разве налог на табак, на сахар, на соль, словом на что угодно, не лишает меня свободы, заставляя употреблять эти вещества в меньшей мере или худшего качества, чем бы я желал? Или, если налог не в состоянии заставить меня отказаться от употребления обложенных предметов в том количестве и того качества, к которым я привык, так разве не принуждает он меня сокращать издержки другого рода, которые я желал бы делать, и делал бы, если бы тому не препятствовал налог? Короче сказать, какой же налог не лишает меня от части возможности употреблять мои средства так, как я считал бы это лично для себя полезным или приятным? Следовательно,

какой же налог, прямой или косвенный, не лишает меня известной доли моей свободы? Весь вопрос только в том, чтобы налог был по возможности справедлив, чтобы он не лишал одного необходимого, дозволяя другому излишек, роскошь. Можно ли же считать пошлину на заграничные поездки через меру стеснительною, когда существуют налоги на предметы, без малейшего сомнения, гораздо необходимейшие, чем эти увеселительные и доставляющие разные жизненные удобства отлучки, например хоть налог на соль? Признано также, что самые справедливые налоги суть налоги на роскошь. Неужели же поездки, и особенно долговременное проживание за границею, не подходят вполне под категорию роскоши? Роскошью называются такие удобства и наслаждения, без которых, сравнительно, легко обойтись. Роскошью называется также то, что, по дороговизне своей, доступно лишь для кошелька немногих. Разве заграничные поездки не соединяют в себе обоих этих условий? В числе причин, побуждающих к отлучкам за границу, выставляют обыкновенно интересы здоровья. Да разве Россия — миазмами наполненная страна, нечто в роде Понтийских Болот, чтобы отсутствие из них восстановляло здоровье? В некоторых случаях бывает нужен теплый климат: у нас есть тёплые страны. Бывают нужны морское купанье и морской воздух: есть у нас и тёплые, и холодные моря. Бывают нужны минеральные воды: есть превосходнейшего качества целебные источники, соединяющие, на небольшом пространстве, всё, что в других странах разбросано по разным местам. Но источники эти не устроены и не представляют желаемых удобств: да как же им и устроиться, когда их не посещают? Они так же, как и всякая отрасль промышленности, требуют для начального своего развития покровительственного тарифа. Наконец, мир уже так устроен, что даже самое попечение о здоровье во многих случаях должно быть причисляемо к предметам роскоши, потому что часто бывает доступно лишь для весьма немногих. Поездки за границу и проживание там составляют, следовательно, настоящую роскошь, и часто роскошь весьма вредную, а потому составляют такой предмет, который, преимущественно перед прочими, подлежит обложению высокою пошлиною. Но этого ещё мало. Самая справедливость ко всем платящим подати требует, чтобы была наложена пошлина на заграничные отлучки. Лица, разъезжающие и проживающие за границей, почти все без исключения, не несут прямых податей, и потому должны бы, по крайней мере, содействовать ношению общегосударственного бремени уплатою податей косвенных. Но, проживая за границею, они отделываются и от этого, усиливая своими лептами государственные доходы Пруссии, Италии или Франции. Не справедливо ли, чтобы, вместо всех косвенных податей, уплаты которых избегают отъезжающие за границу, требовать от них плату, заменяющую эти пошлины, разом, за самое право отъезда?

Если такая пошлина в состоянии отвадить от отлучек за границу, от продолжительных, по крайней мере, тем лучше. Хотя казначейство не усилило бы этою пошлиною своих доходов, зато не один десяток миллионов потянул бы на нашу сторону меновой баланс, и происшедшее от этого

возвышение курса не осталось бы без благодетельного влияния и в чисто финансовом отношении. Если же и эта мера не устояла бы против волшебной силы разных Женев, Ницц, Баден-Баденов и, главное, Парижа, то эти потехи увеличивали бы, по крайней мере, государственные доходы, и на ту сумму, которая оставалась бы в руках казны, всё-таки уменьшили бы наши заграничные траты.

6. К числу обстоятельств, невыгодно действующих на наш торговый баланс, должно причислить ещё правительственные заказы за границею, и беспошлинный ввоз рельсов и других принадлежностей железных дорог. Что касается до первых, то об этом распространяться нечего. Что все принадлежности армии и флота должны производиться дома, в этом согласны кажется все; доказывать это значило бы терять по пусту слова. Иное дело принадлежности железных дорог. Вопрос, в самом деле, затруднителен. Если назначить на ввоз умеренную пошлину, то, вероятно, она не будет достаточна, чтобы заставить возникнуть у нас совершенно новое дело. Казна не получит никаких выгод, выдавая одною рукой гарантиями то, что соберёт другою в виде пошлины. Торговый баланс также не улучшится. Если назначить пошлину высокую, достаточную, чтобы вызвать внутреннее производство рельсов и прочих принадлежностей железных дорог, то столь существенно необходимое устройство этих путей сообщения возложит ещё большие тягости на государственное казначейство. Существует один только разумный исход — последовать совету, давно уже данному М. П. Погодиным, строить железные дороги даром, или почти даром, т. е. на вновь выпускаемые ассигнации; другими словами, строить их, учитывая вперёд тот доход, который они должны будут дать. Конечно, этот способ устраняет всех промежуточных паразитов, которые, под видом оказывающих благодеяния банкиров, питаются миллионными крохами, падающими от железнодорожного дела, и потому в мире финансистов считается нерациональным. Но, на глаза трезвого и здравого рассудка, ничего не может быть проще и рациональнее, если повести дело осторожно. Когда три вышеизложенные меры: пересмотр тарифа, уничтожение контрабанды и налог на заграничные поездки, обратив в нашу пользу меновой баланс, поднимут курс наших бумажных денег, и тем сделают для всех осозательно ясным, что падение их произошло вовсе не от мнимого излишка денежных знаков, то не будет уже предстоять никакой опасности выпустить их несколько более, под верное обеспечение их скорого уничтожения после того, как они сослужат ту службу, для которой были выпущены. Это обеспечение доставят принадлежащая казне Николаевская железная дорога, строящиеся уже казною другие железные дороги, и, наконец, те, которые будут выстроены на выпущенные бумажные деньги. Пусть будет решён, в виде опыта, выпуск 100 млн. Такую сумму употребить в течение одного года на постройку железных дорог, при прочих, уже строящихся из других источников, будет затруднительно; потому постройку эту можно бы разделить на четыре года, выпуская по 25 млн в год. Но Московско-Петербургская железная дорога, будучи отдана в аренду на

длинный срок, и в виду вновь прибывающих к Москве дорог, может, без сомнения, доставить 6 млн в год чистого дохода. Употребляя их исключительно на погашение вновь выпускаемых ассигнаций, окажется в конце первого года только 19, второго 38, третьего — 57, и четвертого — 76 млн лишних бумажных денег более против нынешнего. Но и этого ещё слишком много. Допустим, что в первые два года только и будет, что 6 миллионов для погашения выпущенных ассигнаций; на третий год некоторые дороги, из вновь строящихся, будут же открыты, да и из других источников строящиеся дороги начнут давать доход, так что погашающую сумму можно, без малейшего преувеличения, принять в 8 млн на третий, и в 10 млн на четвёртый год. Таким образом, к концу четвёртого года будет всего только около 70 млн лишних ассигнаций в обращении. Как ничтожно влияние такой суммы на курс наших бумажных денег, можно видеть из опыта нынешнего года, когда и без предлагаемых мер для улучшения торгового баланса, единственно под влиянием несколько усилившегося отпуска, 63 млн кредитных билетов, выпущенных банком, никакого угнетающего влияния на курс не оказали, к великому смущению защитников теории излишка денежных знаков. Потому смело можно было бы приступить к выпуску новых 50 млн, рассроченному на два года. При ежегодном погашении в 10 млн, это составит всего только 100 млн к концу шестого года, как первоначально предполагалось. Эти новые железные дороги на 50 мил., равно как и постоянное возрастание доходов с прочих дорог, если они не будут отданы в постоянную аренду, возвысят, по крайней мере, ещё на 2 млн ту сумму, которая назначена будет на погашение; через восемь лет, все вновь выпущенные ассигнации будут изъяты из обращения, так что через 14 лет мы будем иметь не менее 2000 вёрст лишних железных дорог, считая версту в 75000, и ни одного рубля бумажных денег больше против нынешнего; доходы же казны возрастут на 12 млн, и всё это по самому умеренному расчёту, который, без сомнения, будет далеко превзойдён действительностью. Бояться высказанного предположения — не значит ли страшиться малёванных драконов, подобно храброму китайскому воинству? И чем же достигнутся все эти результаты? Всего на всё пожертвованием, в течение 14 лет, $3\frac{1}{2}$ млн руб., которые ныне получает казна от Николаевской железной дороги. Занять 150 млн, и погасить долг этот в течение 14 лет, выплачивая из настоящих своих доходов по $3\frac{1}{2}$ млн в год, неужели это не самая блестательная финансовая операция, какую только можно себе вообразить? Строя железные дороги таким дешёвым образом, не трудно будет, не только употреблять на них рельсы и прочие принадлежности внутреннего приготовления, но можно будет обязывать к тому же и все прочие общества, которые не получали ещё привилегии на беспошлинный вывоз из-за границы этих принадлежностей. Долженствующее произойти от этого новое возвышение курса наших кредитных билетов с избытком вознаградит не только гарантию на больший капитал, но и то понижение, которое, паче чаяния, могло бы произойти от незначительного выпуска новых ассигнаций, или, лучше сказать, уничтожит самую возможность

опасения такого понижения в самых мнительных умах. Присоединив эти 2000 вёрст дорог к тем, которые уже имеем, и которые уже строятся, или предполагаются к постройке, будем иметь через 6 лет от 7000 до 8000 вёрст железных дорог — что на первый случай можно считать достаточным — и в этих дорогах будем иметь могущественный рычаг для развития нашей металлургической промышленности на Урале, и новое орудие к поднятию нашего курса через усиление вывоза.

Словом, стоит только приняться с настоящего конца за лечение наших экономических и финансовых недугов, а не подливать всё нового масла в огонь, в угоду односторонней, на прокат, взятой, теории, и недуги эти исчезнут как дым.